

Мария и Софья

ДАНЬ НЕНАСЫТНОМУ ВРЕМЕНИ

Повесть, рассказы, очерки



Мариам Ибрагимова. Собрание сочинений в 15 томах. Том

Мариам Ибрагимова

**Дань ненасытному времени
(повесть, рассказы, очерки)**

ТД "Белый город"

УДК 821.161.1-311.6 Ибрагимова
ББК 84(Рос-Лак)7

Ибрагимова М. И.

Дань ненасытному времени (повесть, рассказы, очерки) /
М. И. Ибрагимова — ТД "Белый город", — (Мариам Ибрагимова.
Собрание сочинений в 15 томах. Том)

ISBN 978-5-906727-06-0

Каждая встреча с новым человеком, размышления о судьбах, о пережитом времени высекали искры в душе Мариам и оживали в повестях, рассказах, статьях, очерках, на страницах книг, журналов, газет. Повесть «Превратности судьбы, или Исповедь длиною в жизнь», многие рассказы и очерки впервые увидят свет в этом томе.

УДК 821.161.1-311.6 Ибрагимова
ББК 84(Рос-Лак)7

ISBN 978-5-906727-06-0

© Ибрагимова М. И.
© ТД "Белый город"

Содержание

Дань ненасытному времени	6
Превратности судьбы или Исповедь длиною в жизнь	9
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Мариам Ибрагимова

Дань ненасытному времени

© М.И. Ибрагимова, наследники, 2017

© ТД «Белый город», 2017

Дань ненасытному времени

Александр Мосинцев, член Союза писателей России

С Мариам Ибрагимовой я познакомился в начале семидесятых, когда от писательской организации из краевого центра приезжал в Кисловодск к одному из авторов альманаха «Ставрополье». Он-то и привёл меня на квартиру Мариам Ибрагимовой, с которой жил по соседству.

От её дома осталось ощущение уюта и уверенности, какой-то самодостаточности. Покояли хозяйское радушие и неподдельная заинтересованность новым человеком. Я знал, что работает она врачом на курорте, пробует себя в стихах и прозе, читал какие-то вещи её, связанные с Дагестаном. В общем, отнёсся тогда к ней примерно так, как описывает Пушкин в «Путешествии в Арзрум» свою встречу с персидским придворным поэтом Фазиль-ханом. Как известно, Александр Сергеевич «с неуёмной затейливостью начал восточное приветствие, а Фазиль ответил с умной учтивостью порядочного человека». Поэтому наш классик «со стыдом был принуждён оставить важно-шутливый тон», получив «урок русской насмешливости».

Встреча не получила продолжения, потому что в то время редколлегия альманаха старалась строго придерживаться ставропольской тематики. Колорит и проблематика северо-кавказских республик, кроме Карачаево-Черкесии, входившей в состав края, заинтересованности у писателей не вызывали.

Контакты с Мариам Ибрагимовой продолжались только в период перестройки, в «Кавказском крае» – еженедельнике, ориентированном на историю, культуру, литературу и религию Северо-Кавказского региона. Это было время переосмысления идеологии, выработки новых подходов в решении межнациональных проблем, которые, как известно, не завершились безболезненно.

Историю Кавказа, обычаи горцев Мариам знала хорошо и по своей родословной, и по первоисточникам: не один десяток лет отдала работе, посвящённой третьему имаму Дагестана и Чечни, с привлечением документов из-за рубежа.

К тому времени рукопись её, пролежавшая не один год в редакционном портфеле, вышла отдельной книгой «Имам Шамиль» в столичном издательстве «Советский писатель», сразу поставив автора в ряд самых серьёзных исследователей истории России.

Сознавала ли Мариам своё новое положение? Вне всякого сомнения. Но в разговорах никогда и словом не обмолвилась, не подчёркивала своё превосходство и глубинную историческую осведомлённость. Другое дело – полемика на страницах газеты. Сразу же после выхода в свет какой-либо статьи, близкой её интересам, посвящённой то ли поражению турецкого полководца Батал-паши под Черкесском, то ли другим историческим реалиям, с юношеской непосредственностью звонила в редакцию, предлагая своё видение образа и эпохи. Оказывалось, что статья на эту тему у неё уже давно написана, да только не была востребована в «прошлой жизни».

Как врач, зная о своей неизлечимой болезни, она спешила высказаться на страницах газеты. После её смерти выяснилось, что осталась не одна сотня рассказов, очерков, просто зарисовок, которые и сегодня интересны для читателя.

Книга прозы «Дань ненасытному времени», подготовленная к не состоявшемуся при жизни юбилею – 80-летию Мариам Ибрагимовой, вышла благодаря усилиям её сына Рустама Юрьевича, которому она передала свою энергию и принципиальность.

Удивляет вот что. Хозяйка дома, мать, врач, общественный деятель (а без этого в «прошлой жизни» нельзя было стать заведующей отделением элитного санатория), как она находила время писать стихи, романы, повести, рассказы, газетные статьи и жить по принципу «ни дня без строчки»?! В сущности, каждая встреча с новым человеком, размышления о судьбах

ушедших, о пережитом времени, каких-то городских неполадках постоянно высекали искру в её душе. Но, само собой, предпочтение она отдавала непритязательной жизни горцев, хранящих вековые устои.

В очень лиричном рассказе «Охотник из поднебесья» сотрудники одного из московских научно-исследовательских институтов, находясь в отпуске, на горном перевале встречаются с охотником Мурадом, красивым и крепким парнем, олицетворяющим жителя поднебесного аула Тляроты. Он не суетен, немногословен, не пьёт, не курит, поднимает на ноги после смерти отца трёх братьев и двух сестёр. Плотничает в ауле, а в свободное время охотится. Есть что-то первородное, непосредственное в его натуре, которую с восхищением описывает Мариам.

Образ Мурада – камертон книги. Потом его черты угадываются в старом Хамзате, выведенном в рассказе «Обида». Старик работает сторожем в конторе «Заготзерно». Однажды чабаны, перегонявшие отары с зимних пастбищ в горы, подарили ему щенка, которого он назвал Аргутом. Собака выросла, стала прекрасно исполнять свои сторожевые обязанности, но тут-то и начинается конфликт благородного пса с людьми, испорченными цивилизацией. Олицетворяют их директор «Заготзерна», соседский подросток Расул – бездельник и хулиган, участковый, ветеринар и другие жители. В конце концов Хамзату пришлось расстаться с Аргутом: отдал он кобеля проходившим мимо чабанам. И навсегда. Обиженная собака потом, встретясь с хозяином, с укором проходит мимо него.

В другом случае в роли этой собаки оказывается крымский татарин из рассказа «Хамракул-ака». Парень является личным шофёром Героя Соцтруда Турсункулова, председателя прославленного в Узбекистане колхоза. Однако узбекам-колхозникам шофёр не нравится. Не та биография, – выслан в республику с родителями в годы войны. Дескать, неблагонадёжный, враг народа. Дело дошло до ЦК компартии Узбекистана, который готов запретить въезд татарину в Ташкент. Председатель не сдаётся: «Тогда и я не буду ездить в столицу, но шофёра не сменю». Да и чего менять-то: парень не пьёт, не курит, заботится о престарелых родителях, хорошо работает. Чего ещё надо!

Вот эта трагедия народов, репрессированных по указу Сталина, один из фонов книги Мариам Ибрагимовой «Дань ненасытному времени».

Этой теме посвящён и центральный очерк, давший название всей книге – «Дань ненасытному времени». В нём прослеживается судьба видного политического деятеля карачаевского народа Умара Алиева, уничтоженного в ГУЛАГе.

Конечно, с высоты нынешнего времени Мариам Ибрагимову можно упрекнуть в романтизации образов кавказских революционеров и самого Ленина, которые будто бы не виноваты в последующей трагедии российских народов и самого государства. Но надо учесть и то, что утопические идеи коммунизма на Кавказе взошли не от хорошей жизни горского населения, Мариам прекрасно понимала: революция и Гражданская война принесли не только правовой беспредел, но и равноправие горцам, землю, образование.

Другое дело, что эти идеи потом выродились в диктатуру партии, живущей для себя с помощью мощнейшего репрессивного аппарата. Однако, как бы сегодня ни хотелось кому-то отмахнуться от социалистических принципов, не получится. Они пустили корни в наше сознание и рано или поздно всё равно дадут о себе знать на новом историческом витке. Все мы данники своего ненасытного времени.

Не менее важной темой в книге Мариам Ибрагимовой стала и Великая Отечественная война, которая катком прошла по всему старшему поколению. В очерке «Память» автор рассказывает о самых тяжёлых первых годах войны, когда пал Ростов и немецкая громада устремилась к нефтеносному Баку и перевалам Главного Кавказского хребта, открывавшим дорогу к странам Ближнего и Среднего Востока. Горела грозненская нефть, по дорогам через Буйнакск тянулись бесконечные вереницы беженцев, эшелоны с ранеными. Небо застилали оружие стаи ворон, а в переполненном завшивевшем госпитале свирепствовал сыпняк. От него

умерла близкая подруга, обречённая заболевшим майором. Возвращаются домой искалеченные бывшие курсанты военно-пехотного училища, в котором работала Мариам, каждый день почтальон приносит похоронки. Голод и холод. Но мужает душа, пишутся стихи, и верится в победу, которую и дождалась она в Буйнакске.

Через эту призму войны рассматривает Мариам Ибрагимовна в дальнейшем судьбы своих героев – в очерках о Галине Лилиткиной, Анне Корниловой, Анатолии Чужинове, многих других. С особой симпатией пишет она о жизнелюбивом Антоне Кереселидзе, шеф-поваре санатория, молодой подруге-моднице Маше, тоску-ющем о своих стариках-покойниках Гаруне Гаджиеве и мастере-цветоводе из Тбилиси Тинатине Хорадзе-Тодуа. С гневом – о бестактном Расуле, превратившем поминки в элементарную пьянку, живущих двойной моралью «дикарях» – профессоре Иване Котове и его молодой жене Алле.

«Все мы гости в этом мире. Сегодня ты живёшь, а завтра тебя нет. Зачем нам ссориться?» – говорит Мариам Ибрагимова устами своего героя Хамракула Турсункулова, как бы завещая нам землю, на которой нам жить, волноваться и перестраиваться, но не забывать свою простую историю.

Превратности судьбы или Исповедь длиною в жизнь

Репрессии крушили людей, не разбирая национальностей, убеждений, религий.

Их жертвами становились целые сословия у нас в стране. Среди них казачество и священники, простые крестьяне, профессора и офицеры, в том числе царской армии, пришедшие на службу советской России, учителя и рабочие. Логика была одна – посеять страх, пробудить в человеке самые низменные инстинкты, натравить людей друг на друга, заставить слепо и бездумно повинаться.

...Мы не должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников.

...Перед этими могилами, перед людьми, которые приходят сюда почтить память своих близких, было бы лицемерно сказать: «Давайте всё забудем».

Владимир Путин

В тот вечер заседание бюро Дагестанского обкома партии затянулось до полуночи. Не скажу что одолевала усталость. С некоторого времени правительственный аппарат во главе с НКВД республики привык к ночным бдениям. И не только в Дагестане, а по всей стране.

Не спал великий вождь. Не гасли лампы во всех кабинетах Кремля, министерствах и ведомствах столицы. «Страна строила социализм в условиях обострившейся классовой борьбы».

Была осень 1937 года. Начались аресты руководящих работников в столицах республик – искали «врагов народа». Некоторых забирали прямо с заседаний бюро, выводя из состава. И потому на этих заседаниях чувствовалось крайнее напряжение.

Члены бюро обречённо ждали последнего вопроса повестки дня – «О разном» – кого из них по указанию НКВД обвинят в антипартийной деятельности и прямо с заседания в сопровождении в особо отличавшейся, блестящей форме работников НКВД – синего цвета, с краповым околышем на фуражке – увезут на «воронке» в неизвестность.

Печально, что среди тех, чьи судьбы решались за кулисами НКВД и приводились в исполнение без суда и следствия, были люди, прошедшие от начала до конца нелёгкий путь борьбы за установление Советской Власти, самоотверженные борцы с местной контрреволюцией, интервенцией.

В голове не укладывалось, что эти идейные революционеры-большевики, пройдя тяжёлый путь испытаний, утверждая народовластие, занимая руководящие посты и, следовательно, являясь признанной элитой с властными полномочиями, вдруг стали на путь «протурецкой ориентации» и предательства.

Но если сам великий вождь, воспетый и вознесённых до небес, изваянный и расписанный всеми цветами радуги, гениальный продолжатель учения Маркса, Энгельса, Ленина говорит о том, что враг хитёр, коварен, что он может скрывать своё истинное лицо за благодушной маской, какие могут быть сомнения?

Я – Магомед-Гирей Магомедов – молодой человек, полный сил, энтузиазма, бывший работник обкома комсомола, после окончания исторического факультета педагогического института был взят на работу в обком партии инструктором отдела агитации и пропаганды, затем быстро сделал скачок – от заместителя до заведующего отделом. Получив квартиру, женился, а когда появился второй ребёнок, с трудом уговорил мать и привёз её к себе из аула.

До той злополучной ночи в октябре 1937 года я был счастлив и доволен судьбой, как человек устроенный и обеспеченный во всех отношениях. Но в какой-то момент, неожиданно-негаданно, волею превратности судьбы всё перевернулось в моей жизни.

В пункте «О разном» на бюро обкома вопрос обо мне не стоял. Во время перерыва, где-то около часа ночи, вместе со всеми я вышел во двор покурить. Заседание проходило в просторном зале старого двухэтажного обкомовского особняка, широкий двор которого с внутренней стороны был отгорожен стенами других домов, образующих четырёхугольник.

Отделившись от группы товарищей с дымящей папиросой, я медленно стал прогуливаться вдоль здания в сторону подворотни. Здесь и увидел крытую машину – «чёрный воронок» и с тревогой подумал: чёрт побери, кого очередного ждёт?

И тут один из двоих мужчин, стоявших рядом с «чёрной марусей»¹, сделав несколько шагов в мою сторону, тихо сказал:

– Товарищ, дай прикурить.

Ничего не подозревая, я пошёл ему навстречу и вытянул вперёд руку с горящей папиросой:

– Пожалуйста.

– Подойди ближе, – скорее не сказал, а приказал второй.

Когда я поравнялся с «чёрным вороном», мне скрутили руки и втолкнули внутрь. Не успев опомниться и что-либо сообразить, услышал чудовищный скрежет распахнутых ворот. «Воронок», сорвавшись с места, вырулил на улицу. Двоих чекистов я едва различал в темноте, третий смотрел на меня из кабины.

Сердце, казалось, разорвёт грудную клетку, стук его отдавался в ушах, мурашки прокатывались по холодной спине, язык сковало. Я не мог не только говорить, но и понять, что со мной случилось. Когда, наконец, осознал своё положение, с трудом выдавил:

– Что всё это значит? Вы ошиблись, товарищи...

– Там не ошибаются, разберутся, – грубо ответил чекист.

Через 5–6 минут «воронок» въехал во двор. Я догадался, что меня доставили во внутреннюю тюрьму НКВД, где находились камеры предварительного заключения. Рядом – здание наркомата. Тут же расположены и многоэтажные дома семей работников наркомата, санчасть, столовая и буфет.

До меня ясно доносился шум морского прибоя. Этот район города я знал хорошо, не раз бывал у своего товарища из дорожного техникума, которого перевели на оперативную работу в органы.

Два конвоира повели меня на второй этаж по длинному коридору, мимо множества дверей камер. Шёл второй час ночи. Тусклый свет электрической лампочки под высоким потолком камеры едва освещал два ряда тесно лежащих на полу человеческих тел – головами к стене. Между ними оставался узкий проход. В правом углу, у параша, держали свободное место для новеньких. Тут я и присел. Несколько заключённых приподняли головы, с безразличием посмотрели на меня и снова предались беспокойному сну, а может, ушли в тяжёлые думы.

Мысли мои роились, как муравьи в потревоженном муравейнике. Перебрал в памяти всё, что мог сказать лишнее, пытался отыскать неосторожный шаг и, не найдя ничего крамольного в своих действиях, успокаивал себя: это ошибка, разберутся, отпустят.

Тревожили думы о матери и жене. Они ждут меня, даже в полночь. А теперь что подумают, куда кинутся, как перенесут страшную весть...

И мысли не допустят, что я в числе врагов народа. Биография моя безупречна, как и сама жизнь. Всё это досадная случайность!

¹ «Черная маруся» – автозак НКВД.

Отец – бедняк, безземельный уздень – с отрочества занимался народным промыслом. И меня приспособил к своему ремеслу. Я стал вспоминать кубанские станицы, по улицам которых бродил, заглядывая во дворы казаков, выкрикивая: «Лудим, паяем, чиним!» Как носил в мастерскую отца заказы от станичников.

Когда установилась советская власть, мы вернулись домой. Отец открыл мастерскую в Темир-Хан-Шуре, меня отдал в русскую школу.

В годы коллективизации меня как комсомольца мобилизовали агитировать горцев вступать в колхозы. Вместе с членами партии – русскими и местными – мы разъезжали по аулам, объясняя народу преимущества коллективных хозяйств, наталкиваясь на сопротивление крестьян, не желавших объединять свои земли, скот, сельхозинвентарь. Вспыхивали волнения, доходило до убийства активистов.

Всей душой я был предан советской власти. Считал, что горцам она открыла путь к учёбе, дала возможность своим трудом обеспечить безбедную жизнь. Разве до этого мог я или мои братья мечтать о городской квартире, о высшем образовании, о высоком служебном положении? Нет, тут недоразумение, ошибка. Скорее бы вызвали для объяснения!

Но в ту ночь никто никуда не вызвал. Под утро я погрузился в дремоту. А через час, когда забрезжил рассвет, проснулся от шума в камере. Арестантов выводили во двор на прогулку. Поднялся и я.

Угрюмо опустив головы, заложив руки за спину, шаркая каблуками по каменистому дворику, окружённому серой стеной, мы молча шагали друг за другом.

В камере переговаривались в полголоса, и то изредка, словно давно знали друг друга, и говорить было не о чем. Нескольких арестантов знал по работе, они возглавляли министерства, руководили городским хозяйством. Только кивком сокамерники выказали своё молчаливое приветствие, в разговор не вступали. Это вызвало во мне неприятное чувство – подумал, что приняли меня за подсадную утку. Слышал, что такое практикуется: дабы вызвать арестованного на откровенность или чтобы выпытать какие-то сведения, сочувственно влезали в душу.

Так прошёл день. В полночь вызвали меня не для объяснения, которого ожидал, а на допрос. Следователь сразу начал с уточнения паспортных данных. Потом приступил к сбору других биографических сведений. А я не мог сосредоточиться на главном.

С первой же минуты, как только переступил порог кабинета следователя и глянул на сидящего за столом человека в форме, стал напрягать память, когда и где я его видел. Ещё в начале допроса хотел заметить этому со строгим лицом и высокомерно поднятой головой человеку, что, согласно положению, он должен был представиться подследственному, назвав свою фамилию, имя и отчество. Но мне не хотелось начинать с замечаний официальному лицу, в чьих руках в данную минуту находится моя судьба, ибо всё ещё надеялся, что в моём деле разберутся, принесут извинения и отпустят.

Пока следователь неторопливо, каллиграфическим почерком подробно записывал мои показания, я перебрал в памяти всех знакомых, товарищей, начиная со школьной скамьи. В том, что я его не просто раньше видел, а где-то встречался, сомнений не было. Лицо его запомнилось: правильные черты, резко очерченные полные губы, большие бархатистые глаза в миндалевидном разрезе чуть припухших век.

Я, видимо, отвечал невпопад, повторялся и потому следователь несколько раз заметил:
– Вы уже об этом говорили.

В кабинет вошёл другой молодой человек в форме НКВД и, обратившись к следователю, сказал:

– Рюрик Иванович, срочно к начальнику.

Когда следователь резко повернулся в сторону вошедшего, мой взгляд выхватил родинку на его виске.

«Клоп» – чуть не вырвалось у меня. Да, это была его красновато-бурая родинка с четырьмя хвостиками, похожими на ножки, и ясно очерченной головкой. «Клоп» – снова повторял я про себя. И имя сходится – Рюрик, только вот отчество другое. Не звали его отца Иваном. Пока мои мысли с быстротой молнии проносились в голове, и я взволнованно всматривался в лицо следователя, он нажал кнопку под крышкой стола. Вошёл конвоир, кивнул в мою сторону: «Уведите!»

Очутившись снова в углу камеры, с нарастающим волнением я предался воспоминаниям. В то смутное тревожное время переворота в России до кубанской станицы, где мы с отцом занимались своим ремеслом, доходили непонятные для меня слухи о войне, революции, о белых и красных...

Потом в станице стали появляться на конях вооружённые мятежники, правда, долго не задерживались. Хотя среди казачат я первым встречал и провожал отряды входящих и проходящих – ровным счётом ничего не понимая, любовался оружием лихих всадников, поступью ретивых коней и вообще оживлением и шумом происходящего в тихой станице.

Было у меня среди казачков несколько дружков, живших по соседству. Среди них особо выделялся одеждой и каким-то превосходством сын генерала Гирича. Фамилия запомнилась, да и сам генерал – высокий, плечистый, сверкающий позолотом эполет, с орденами и медалями. Когда по воскресеньям генерал с женой, старшим сыном, дочерью и младшим – Рюриком – торжественно шествовал под звон колоколов в станичную церковь, пёстрая толпа казаков и казачек расступалась перед ним.

Слышал однажды речь генерала, когда атаман объявил сход мирян на церковной площади. Стоя на церковных ступеньках, генерал громко говорил собравшимся станичникам. Не всё запомнил и не всё понял я тогда – мальчишка восьми лет. Но кое-что запало в душу.

– Братья казаки, не верьте красным разбойникам. Это антихрист в их лице поднял престолюдин против царя и Бога. Это жида хотят погубить Русь-матушку и утвердить в ней свою веру и законы. Не слушайте большевиков и жидовских комиссаров – мягко стелют, да жёстко будет спать. Православный русский народ отстаивал своё Отечество в борьбе с нехристями. Так защитим же и мы свои станицы и города, Кубань и Дон от красной нечисти! Жида и комиссары обрекут вас на кабалу, нищету и унижение!

Благодаря блестящей памяти, я запомнил многое, но смысл сказанного был непонятен.

– Защитим с Божьей помощью! – выкрикивали старые казаки.

А спустя несколько дней, со свистом и криками ворвался в станицу конный отряд. Ничего тогда я не разобрал. Вооружённые всадники, одетые в полувоенную форму и в гражданскую, о чём-то говорили казакам, собравшимся на площади. Обратил внимание на всадников в кожаных тужурках с португепями, в фуражках со звёздами, в галифе и хромовых сапогах. Эти вроде были главные, громко отдавали команды бойцам и переговаривались с казаками. Возле них вертелись крепкие бесшабашные парни в тельняшках и бескозырках.

К церковной площади спешили станичники, образуя огромный круг. Казаки держались особливо, в сторонке.

Самый большой в станице, добротный дом генерала Гирича высился на холме, недалеко от церкви. К нему и направилась часть всадников. Один из них, послав коня вперёд, стал о чём-то громко говорить стоящему у открытого окна при всех регалиях генералу Гиричу. Другие окна были наглухо закрыты ставнями. Переговоры закончились взаимными угрозами.

Тогда несколько всадников ринулись во двор генеральского дома, но их остановили выстрелы. Двоих сразили пули. К ним бросились на помощь, но остановились – стреляли из щелей ставен. Красноармейцы так и не смогли подобрать раненых. Тогда с площади тёмным паводком к генеральскому дому хлынула конница. Стреляя по окнам, стали подступать к особняку со всех сторон.

Станичники не вмешивалась – затаив дыхание наблюдали за штурмом особняка. Вскоре осаждённые стали стрелять с чердака, осыпая огнём ручного пулемёта нападавших. Красные, обойдя дом с охапками соломы, стали подбираться с тыла. Нескольким смельчакам удалось подползти к плетню, перемахнуть через него, подложить солому к чёрному ходу и поджечь. Огонь вспыхнул и в конюшне, запылали сеновал и дровяник. Пламенем была охвачена часть дома с пристройками.

И вдруг откуда-то из глубины пламени выскочил мальчишка лет восьми и бросился к толпе женщин. Нападавшие кинулись за ним вдогонку. Но толпа казачек на миг расступилась, спрятав ребёнка, и тут же сомкнулась, став живой стеной перед преследователями.

– Геть! – крикнула одна из них, сурово сдвинув брови и выпятив грудь.

– Вин же малый, хлопчик, хиба ж ты не бачишь, басурман! – замахала кулаками другая. Казачки проявили решительность. С ними не стали связываться.

Тем малым был Рюрик. Как ему удалось вырваться из огненного кольца, и куда он делся с тех пор, ведал один только Бог.

Генеральский дом вместе с его обитателями был сожжён. Отряд красных покинул станицу.

Мир тесен, несмотря на его просторы. Надо же – через столько лет и где встретились!

Рюрик меня, конечно, не узнал. Может, и помнил того чумазого горца в косматой папахе, с которым играл в альчики, в лапту, в прятки.

Надо же, сын белогвардейского генерала, ярого монархиста, отдавшего жизнь за царя и Отечество, работает не где-нибудь, а в самых что ни на есть высших органах государственной безопасности!

Рюрик, только не Иванович. Запомнил я имя и отчество его отца, к которому не раз обращался «Ваше превосходительство»...

А вот фамилию Гирич помню хорошо.

Когда трагичная картина прошлого всплыла из тайников памяти, я решил открыться, напомнить следователю о его далёком печальном детстве и нашей недолгой дружбе, но передумал: это было бы большим риском, а может и роковой ошибкой.

Если бы Рюрик не скрывал своего прошлого, не был бы сегодня «государевым оком», стражем власти.

Не только говорить, даже намекнуть о том, что знаю его, было нельзя.

Не остановится ни перед чем, сотрёт с лица земли.

Но как, после всего, что случилось с его семьёй, он стал преданным советскому строю чекистом?

Неужели простил своим кровникам?

Я бы не простил.

Жил бы притаившись, не высовывался, но служить врагам верой и правдой – нет!

А может быть он, Рюрик Гирич, не служит верой и правдой коммунистическому режиму.

Быть может он и подобные ему пробрались в органы и высшие эшелоны власти и расправляются с теми, кто отнял у них права, привилегии, имущество вместе с жизнью самых дорогих и самых близких им людей.

Что делать?

Кому довериться?

А вдруг тот, кому раскрою тайну, окажется таким же, как он?

Нет, надо молчать.

Может быть, и все эти лежащие на полу в лохмотьях люди, когда-то занимавшие большие посты, образованные и интеллигентные – такие же враги народа.

И как поймёт меня следователь, отпрыск царского генерала?

Выхода нет, остаётся верить себя судьбе.

В наступившую новую ночь допрос, касающийся моей биографии, с прежней тщательностью был продолжен.

Когда я смолк, подробно обрисовав недоумение моего странного задержания, заключив, что считаю это ошибкой, следователь подчёркнуто высокомерно заявил, что по ошибке или случайно могут задержать сотрудники милиции, а не чекисты, и добавил:

– Между прочим, гражданин Магомедов, вы обошли молчанием своё пребывание в Турции.

– Позвольте, это было в далёком детстве, мне и семи не было, когда отец повёз меня в Стамбул. И пробыли мы там не более полугода.

– А что делал ваш отец в Стамбуле те шесть месяцев?

– Что мог делать покойный отец, кустарь-одиночка, лудильщик в чужом краю?

– Вы не философствуйте, отвечайте прямо на вопрос.

– Лудил медные казаны туркам.

– Только ли?

– А что ещё мог делать безграмотный, плохо владевший тюркским языком горец?

– Задаю вопросы я, а не вы, – грубо оборвал меня Рюрик Иванович. – Нам известно, что ваш отец был дагестанцем протурецкой ориентации.

– Выдумка, отец был далёк от всякой политики.

– Вы себя тоже считаете далёким от политики?

– Как сказать, я партийный работник, значит, имею какое-то отношение к политике нашего государства.

– Вот именно, какое-то.

– Что вы хотите этим сказать, гражданин следователь?

– А то, что вы, как партийный работник, политически неблагонадёжны, стали на путь измены и предательства.

– Я – на путь измены, предательства?

– Да, да вы, Гирей Магомедов, заведующий отделом агитации и пропаганды обкома!

Я почувствовал тяжесть, какое-то стеснение в голове, в глазах потемнело от гнева, хотелось крикнуть: «Ты, белогвардейский прихвостень!». Но я до крови закусил губу. К счастью, в этот момент вошёл конвоир, вызванный следователем, и увёл меня.

Каждый допрос убивал во мне надежду на освобождение. Меня пытались уверить, что арест мой не случаен – хотя бы потому, что органам давно известно обо мне даже то, что мной забыто.

И думалось мне, ну, допустим, если даже мой безграмотный отец – кустарь-ремесленник, человек взрослый – не разбираясь в политике, мог испытывать какие-то чувства к единоверным туркам, то что могло быть общего у меня, семилетнего мальчишки, с политикой Турции?

Что кроется под этим бессмысленным обвинением?

И всё же, подавляя гнетущие мысли, воспоминания унесли меня в далёкое детство – когда отец, видимо, не желая отправляться один на заработки в далёкий, чужой край, решил взять меня с собой – чтоб не слишком тягостно переносить одиночество и тоску по близким и любимым.

Помню, уговорив мать, он сказал мне со всей серьёзностью:

– Ты же уже мужчина, должен знать пути, страны и народ, где будешь добывать средства для существования и благополучия тех, кто остался у непогасшего очага твоих предков.

В тот год Россия находилась в состоянии войны с Германией, видимо, поэтому некоторые безземельные горцы, занимающиеся отходничеством, решили ехать на заработки в Стамбул.

Помню, в моём детском воображении Стамбул представлялся огромным городом с плоскими крышами, очень похожими на крыши наших саклей. Но как только мы спустились с гор, первый же городок потряс меня стройным величием домов с крышами, похожими на большие железные шатры. А Стамбул своими величественными мечетями, с позолотой минаретов, устремлённых в самое небо, с прекрасными дворцами, омываемый бескрайним морем, на волнах которого качались «водяные дома», показался мне страной сказочным чудес.

Особенно поразил меня стамбульский крытый рынок – «Бююк Чарша», с высокими сводчатыми потолками, с распахнутыми в четыре стороны воротами, куда свободно въезжали не только всадники в пёстрых одеждах, но и караваны огромных верблюдов, гружёных товарами. И чего только не было в его тесных рядах, начиная с ярких ковров, златотканой парчи, серебряных изделий и кончая горами заморских фруктов и сладостей. И возле всего этого богатства толпились чернокожие купцы в ярких одеждах – они казались мне людьми с другой планеты.

Рядом с крытым рынком теснились богатые кофейни и чайханы с расписными потолками, резными украшениями стен и лёгкими колоннами внутри. Между ними были устроены топчаны, покрытые мягкими коврами, на которых восседали и возлежали гости, потягивая дым из длинных кальянов и прихлёбывая ароматные кофе и чай.

Со всей этой роскошью и богатством уживалась в мире и согласии беднота – в закопчённых подвалах, в лачугах ремесленников – шорники, медники, жестянщики, сапожники, портные, плотники...

В одном из таких подвалов, разделённом на жилую часть и мастерскую, поселились мы с отцом.

Приездом в Стамбул отец был недоволен, заработка едва хватало на пропитание и уплату хозяину за жильё. Несмотря на то, что в старой столице Турции бурлила жизнь со всеми её радостями и печалью, какое-то тревожное напряжение чувствовалось всюду – особенно там, где собирались толпы турок. По улицам маршировали турецкие воины в фесках, ими командовали люди в другой, отличающейся от турецкой, форме. Мальчишки называли их «руми»; теперь-то я знаю: то были немцы, занимавшие командные посты во всех высших турецких ведомствах.

Прислушиваясь к разговору отца с кустарями, мастерские которых были в двух шагах от нашей, понял, что среди них немало соотечественников. От них узнал, что турецкий султан водит дружбу с правителем германских гяуров – неверных – и готовится выступить против русских.

В один из осенних вечеров, когда мы, усталые после трудового дня, лежали на топчане, отец задумчиво сказал:

– Владыка миров не всегда направляет рабов своих на верный путь, надеясь на их разум. Напрасен мой приезд сюда, время смутное, опасное. Пока не поздно, вернёмся, сын мой, в родные края, ближе к русским людям, которые испытывают большую нужду в нашем ремесле. А единоверцы – одни утопают в роскоши, другие – в нищете...

Вскоре мы покинули Турцию, с трудом добрались до станции Кавказской и с одним из земляков, встретившимся на вокзале, свернули на Кубань. Ехать в сторону гор было опасно – там полыхала Гражданская война. Что ни день – то вооружённые столкновения, нападения на поезда и прочая неразбериха. Только весной 1921-го вернулись в родной аул.

А осенью вновь спустились на плоскость, в Темир-Хан-Шуру, ставшую столицей утверждённой автономной области Дагестана.

Очередным обвинением, ошеломившим меня на допросе, была причастность к антипартийной правоуклонистской бухаринской группировке. Я спросил:

– На каком основании?

Следователь ответил:

– Органам внутренних дел стали известны ваши убеждения и согласие с многими анти-советскими и антипартийными трактовками Бухарина, в частности, с его теорией «об устойчивости мелкотоварного производства», раскритикованной нашим генеральным секретарем – Сталиным – как вредная антимарксистская теория «врастания кулака в социализм».

У меня дыхание перехватило. Это был последний удар, рассеявший окончательно сомнения в неизбежности ареста.

Да, где-то я говорил что-то такое, вне всякой связи высказывая свою точку зрения.

Но говорил доверительно, только близким.

От кого могла просочиться информация?

Кто донёс?

Видя мою растерянность, Рюрик Иванович Иванов, как стала известна мне его фамилия, с видом победителя, измерив меня взглядом, отчеканил:

– Идите и подумайте.

А в следующую нашу встречу назовите имена всех, кто состоит в вашей группировке и кто ею руководит.

Это был, пожалуй, один из тяжелейших периодов идеологической и постоянной борьбы стоящих у руля Советской Республики, начавшей набирать силу.

Убийство Кирова породило многочисленные аресты.

За ним последовали: таинственная смерть жены Сталина, «скоропостижная» кончина Серго Орджоникидзе, новые сенсационные разоблачительные публикации в газете «Правда»...

Ранней весной 1937 года пленум ЦК ВКП (б) исключил из партии Бухарина и Рыкова, возглавлявших «антипартийную группировку», которая из политического течения стала «оголтелой бандой врагов народа».

Язык мой – враг мой.

В который раз вспоминал предупреждения отца – не давать воли языку, даже в самый критический момент.

Излишняя болтовня унижает достоинство мужчины.

Народная мудрость горцев гласит: «Как только человек рождается, мозг требует от языка – не «высовываться», не болтать без нужды, не «вертеться за частоколом зубов», ибо излишние «действия» языка тяжёлой болью отдаются в голове».

Но мой разговор – личное, случайно высказанное мнение.

Да и сидя в КПЗ, я не сомневался и не сомневаюсь теперь, что частнособственнические тенденции устойчивы, особенно у крестьян. Нельзя крестьян лишать земли, приусадебных участков, где они растят овощи, фрукты, скота, крупного и мелкого, домашней птицы. Хлебороб крестьянин прирастает к ним душой, потому что живет за счет натурального хозяйства. Живет сам и излишками кормит других. Коллективные хозяйства, коммуны можно и нужно создавать. Колхозник отработает в коллективном хозяйстве положенную норму и найдёт в себе силы и время заняться личным хозяйством, приучая, привлекая к домашнему труду всех членов своей семьи, начиная с малого возраста. Даже одна коровёнка-кормилица бедных семей горцев – и та требовала затраты сил, ухода – с восхода зари, когда её нужно было подоить, погнать на пастбище, и вечерней зарёй – вновь подоить, обеспечить кормом на ночь, очистить хлев...

Если отнять у крестьянина натуральное хозяйство, он станет нахлебником у государства, разленится, отвыкнет от работы в домашнем хозяйстве, да и по отношению к коллективному сознанию его притупится, когда он увидит, что руководящим и командующим без особого труда живётся легко за счёт него – труженика.

... Я категорически всё отрицал.

Желая каким-то образом связать меня с «троцкистами», которые сидят в соседних камерах, Рюрик Иванович самым подробным образом вёл допрос: когда и каким образом я с ними познакомился, откуда знаю.

Тон его допросов с каждым разом становится резче и грубее. Он уже не предлагает закурить.

Резче, озлобленнее становлюсь и я. Порой во мне начинает klokотать гнев, хочется крикнуть:

«белогвардейский выродок, господин Гирич!

А ну-ка зови настоящих коммунистов, пусть разберутся, кто из нас есть кто!»

Но дух добра подавляет дух зла в душе моей, и я прикусываю губу.

Нервы мои напряжены до предела, теперь и я, как и все сидящие в камере, ушёл в себя, несмотря на то, что в глазах их стал видеть сочувствие.

Дело в том, что в те времена в интересах раскрытия преступления, изобличения виновных, к арестантам подсаживали «наседку» – информатора, который, выдавая себя за преступника, «доверительно раскрывал свою тайну», выпытывал, провоцировал, вызывал на откровенность. Поэтому с новичком подследственные некоторое время не вступали в контакт, пытливо наблюдали за ним со стороны.

Итак, постепенно взаимоотношения между мной и моим следователем обострились. Не располагая достаточными уликами, по-видимому, относясь к категории механически мыслящих исполнителей, либо – скорее всего – в силу своих политических пристрастий и служебного рвения, используя свое безапелляционное право карателя, «Иванов» стал прибегать к мерам, которые применяли в тупом бессилии ликвидаторы всех времен – избивать меня.

Для меня – здорового мужика, всю жизнь увлекавшегося спортом, обученного приемам самбо – легко было простым напряжением крепких мускулов амортизировать удары сухопарого хлюпика.

Но на одном из очередных допросов, когда «Иванов» стал сопровождать свои действия «изысканной» бранью и оскорбил матом мою мать, я не выдержал, вскочил, схватил табуретку и со всего размаху кинул в следователя.

Я только успел крикнуть:

«Рюрик Гирич!

Ты враг народа!

Это тебе за мои муки!»

В кабинет влетели конвоиры и надзиратели и ударили меня чем-то тяжёлым по голове.

Я потерял сознание. С трудом пришел в себя – после того, как меня окатили ведром воды.

Наверняка у меня был такой вид, что как только меня втокнули в камеру, все кинулись ко мне и самым заботливым образом стали врачевать примочками, повязками из полотенец и прочими примитивно доступными средствами.

Нет, я несколько не сожалел о содеянном.

Слово мать для меня, как для всякого горца, было священным.

Матерную брань, обращённую к кому бы то ни было, я просто не выносил.

И не приведи господь, если кто-либо из дружков или неприятелей решил бы обложить меня подобной бранью.

Да, мать свою я страстно любил.

Её слово для меня было законом, её воля непоколебима.

Когда умер отец, нас осталось у неё трое.

Безграмотная горянка, она от природы была одарена светлым умом, была неустанно трудолюбива.

Её мудрый, искрящийся теплом и лёгкой грустью взгляд я обожал. В нём хватало и мужества чтобы заменить нам отца.

Благодаря матери я уверовал в силу женщин-горянок, которые могли опоясаться мужским ремнём, надеть папаху и сражаться с врагом наравне с мужчинами.

У меня были обожаемая жена, любимые дети и если признаться откровенно, оказавшись под арестом я страшно тосковал по матери.

А может быть, это потому, что ее безутешная, отчаянная тоска передавалась мне необъяснимой силой телепатии.

Она боготворила меня, но свои чувства, порожденные неизгладимой силой материнского инстинкта, старалась скрыть за внешней строгостью и напускаемой спокойной рассудительностью.

Я знал, что в потемках бессонных мучительных ночей она скрывает от всех свои страдания по мне, потому что не сомневается в моей невиновности, ибо только ей я доверял самое сокровенное.

Когда ночью щёлкнул замок, заскрипел засов – несмотря на ночь, каждый из заключённых приподнял голову: кого «на выход»?

Я поднялся, глянул на лежащих рядом, прочёл в их глазах сочувствие и, улыбнувшись, кивнул головой. В сопровождении конвоира, держа руки за спиной, как и положено, я направился по длинному коридору к знакомой двери. Несмотря на сильное волнение и стеснение в груди, вошел я в кабинет следователя твердым шагом и гордо, вызывающе откинув голову, стал перед столом.

Но тот, кого я увидел, в какое-то мгновение привел меня в такое состояние раскованности и растерянности, что я, чувствуя, как лезут глаза из орбит, с трудом шевеля языком, прошептал:

– Саша, ты?

Александр Смирнов встретил меня более спокойно. Вспомнил меня. Я понял, что встреча для него не была неожиданностью.

– Да, Гирей, это я, здравствуй, – он пожал мне руку и, указав на стул, добавил, – садись.

Опять-таки, не забывая, кто я есть в данном положении, я опустил на сидение и, наклонив голову, стал ждать официального разговора.

Но Саша Смирнов, мой старый товарищ по комсомольской работе, тихо начал говорить.

– Прости, я не знал, что тебя арестовали, да и откуда мог знать, если наши пути разошлись десять лет тому назад.

Ты возмужал и так изменился, что если бы не знакомство с протоколами допроса, я бы не сразу узнал тебя. Самым тщательным образом я изучил твое дело, и кое-что не мог понять.

Скажи, Гирей, как ты в такое время в кругу друзей мог вести ненужные разговоры!

– Какие именно?

Я приподнял голову и глянул в глаза Смирнова.

– Ты что, считаешь правильной бухаринскую теорию «устойчивости мелкотоварного производства», тогда как она истинными марксистами рассматривается как антисоветская, мелкобуржуазная теория «врастания кулака в социализм»?

– Но ведь это мое личное убеждение, которое я никому не навязываю. Я и сейчас могу повторить, что считаю неправильным абсолютную коллективизацию. Нельзя у горцев отнимать приусадебный участок, коровенку, лошаденку, мелкий скот. Мои предки испокон века существовали натуральным хозяйством.

– Ты, значит, против коллективизации? – удивился Смирнов.

– Напротив, я за колхозы, но с сохранением мелкого личного хозяйства середняка и бедняка.

Пойми, Саша... извините, товарищ Смирнов – меня правильно.

Горцы пойдут в колхоз охотнее, если им сохранят небольшие частные хозяйства. В положенное рабочее время они отработают в коллективном хозяйстве, а в личном будут управляться старики, дети – и сами в свободное время. От этих личных хозяйств выиграют все – и сам хозяин, живя за счет натурального хозяйства, и государство – потому что не нужно будет в полной мере снабжать колхозников продуктами: наоборот, горцы могут сами еще излишки сдать государству. А если лишить их всего, как говорится, «под метлу», они станут потребителями.

Смирнов молча, задумчиво слушал.

– Саша, ты помнишь, как мы с тобой, молодые комсомольцы, участвовали в деле коллективизации в те далекие годы? – спросил я.

Смирнов встрепенулся, посмотрел на меня долгим взглядом, словно хотел заглянуть в душу и тихо сказал:

– Иди, отдыхай, продолжим завтра.

Охваченный радостным волнением от встречи с другом, который меня хорошо знал, окрылённый надеждами на торжество справедливости и скорое освобождение, вошёл в камеру улыбающийся, и на вопросительное выражение лиц сокамерников коротко сказал:

– Сменили следователя.

Разговаривать ни с кем не хотелось. Под натиском нахлынувших воспоминаний и взволновавших впечатлений я притворился спящим, чтобы остаться одному со своими мыслями. А они теснились в голове роем.

В 1929–1930 годах вторая волна репрессий, арестов, насилия докатилась и до нас.

Молодая Советская Республика, ликвидируя частную собственность, не могла ограничиться лишь мерами убеждения, прибегала и к насилию.

А в наше время, когда появилась настоящая частная собственность, психология людей в этом отношении не только не изменилась, но ещё более обострилась. Да и на самом деле, кто может вот так взять да отдать без сожаления свою кормилицу-коровёнку, благодаря которой сыта семья!

И это несмотря на то, что содержание её связано с большим трудом. Ведь настоящая хозяйка привязана к хвосту своей коровёнки с раннего утра до позднего вечера. А остальной скот? А приусадебный или земельный участок? Как прожить без них горцу вдаль от городских рынков?

Заволновалось крестьянство, а некоторые забастовали.

И случалось, открыто встречали в штыки активистов колхозного движения.

А сколько убивали из-за угла!

Вот в этот сложный период мобилизовали меня, комсомольца – также как молодого коммуниста Смирнова – на борьбу с кулачеством.

Саша был на несколько лет старше меня. Его, как ответственного товарища, вооружили браунингом. Тогда наша семья жила в небольшом городке, вокруг которого на плоскогорье были разбросаны мелкие аулы.

Обычно посланцы партии и комсомола собирались группой и разъезжали на лошадях или на «линейках» по селениям. Там, собрав сход горцев, проводили с ними разъяснительную работу о преимуществах коллективного хозяйства, о росте производительности их труда с помощью механизации, т. е. техники, которая будет выделяться для колхозников государством и т. п.

К великому моему удивлению, на этих сходах активность проявляли в основном женщины. Мужчины, стоя поодаль, только наблюдали за происходившим.

Надо сказать, что среди представительниц слабого пола находились агрессивно настроенные. Вызывающе выступив вперед, размахивая руками, они с насмешкой выкрикивали: – Ну что ж, давайте, объединяйте скот, землю, а потом, может быть, и нас, женщин, будете объединять?

В одном из аулов какая-то дородная старуха, засучив руки, бросив платок под ноги, поднялась на сколоченную наспех трибуну и бросилась с кулаками на Сашу – одного русского, которых оказался среди нас. Кто-то из местных товарищей прикрыл Смирнова собой. Но она, как разъяренная тигрица, протянув скрюченные длинные пальцы к его лицу, рвалась именно к нему. Рука Саши невольно легла на рукоятку браунинга. Я, зажав его руку в свою, шепнул: – Брось, не смей, это провокация. Никто не смеет тронуть старуху. Иначе тут начнется такое месиво, что и родные не опознают никого из нас.

Присутствующий среди нас член исполкома – пожилой человек, из местных, спокойно сказал:

– Апам, ты женщина, мать, как ты смеешь поднимать руку на мужчину, гостя. Разве он твой кровник или унизил, оскорбил тебя или кого-нибудь из твоего рода? Будь благоразумна, пусть сюда выйдет и разговаривает с ним тот, кто тебя настроил, пусть не прячется за спину женщины, если он мужчина.

Видно, исполкомовец попал не в бровь, а в глаз. Старуха смущенно опустила руки, и, ворча, сошла с трибуны.

На Кавказе горцам, как и всем народам мира, свойственны добро и зло; как сказал Лермонтов –

«Там за добро – добро, и кровь – за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь».

Но мне кажется, в отличие от степенных, рассудительных степняков, горцы склонны к бунтарству.

«Им бог – свобода, их закон – война...
...Верна там дружба, но вернее мщенье».

Но в те дни в каждой республике партийные советские и комсомольские работники активно включились в дело коллективизации. Не дремали и затаившиеся враги. Подстрекаемые людьми, недовольными народовластием, крестьяне роптали и открыто заявляли:

– Вы же обещали власть советам, а землю крестьянам, зачем же теперь отнимаете?

И вот нам, местному активу, надо было находчиво отвечать на все вопросы и всяко доказывать выгоды и преимущества коллективных хозяйств.

И всё-таки чувствовали мы, «как ныне безумный Кавказ негодует, и мрачные думы его тяготят».

Доказательством тому был бунт сельских горянок.

В один из дней к городу стали стекаться со всех окружных аулов женщины. Словно по сговору, все они были укутаны в белые полотнища, под которыми прятали руки с узелками.

Они, словно бесчисленные стаи белых чаек, запрудили все улицы, ведущие к центру города и главную улицу с домом, где помещался исполком городского совета.

Вся местная власть во главе с седобородыми народным депутатами вышли навстречу.

Было понятно, что это не стихийная вспышка народного гнева, а хорошо продуманные, спланированные и чётко организованные действия. Горянки могли быть вооружены, а их под-

стрекатели вместе с мужьями, сыновьями, братьями могли где-то наблюдать и выжидать на расстоянии.

Представителям местной власти и всему партийно-советскому активу было сделано жёсткое предупреждение – пользоваться только мерами убеждений и обещаний во избежание столкновений.

Председатель исполкома, обратившись к представительницам бунтарок, сказал, что он предлагает зайти в помещение городского театра и там обсудить их требования и желания.

Но зачинщицы категорически отказались, заявив, что они желают вести переговоры на открытой местности, в присутствии всех.

Ничего не оставалось делать.

Предупредив на всякий случай командование военного гарнизона, находившегося в городе, сотрудников НКВД и милиции, представители местной власти согласились на переговоры за городом. Местом сбора была назначена большая площадь, посреди которой, словно гранитный пьедестал, торчал огромный плоский осколок скалы. На эту скалу поднялись представители власти. Площадь запрудила толпа сельских женщин в белых одеждах и горожане в разных одеяниях. Переговоры длились более часа и закончились миром. Среди военных и работников органов, переодетых в гражданскую одежду, были Саша и я. На сей раз мне на всякий случай выдали под расписку наган, при ощущении которого сбоку под пиджаком сердце мое преисполнялось особой гордостью.

Саша, конечно, все это помнит, он должен поверить мне.

Вызвав на очередной допрос, Саша Смирнов молча протянул мне сверток и тихо произнес: «Ешь, да побыстрее». В свертке были бутерброды с маслом и колбасой. Я ел, жадно глотая, и давился от того, что комок от сдерживаемых слез сдавливал глотку, а Саша, низко склонившись над записями, сделанными следователем Рюриком, читал.

– Ну какой же ты, Гирей, не осторожный, – сказал он наконец, озабоченно глянув на меня.

– В чем же я виноват?

– В чем? На кой черт тебе было разговаривать на политические темы с тем же Окаевым. Мужик глупый как пень, что у тебя общего с ним?

Другое дело Соснович. Этот хоть мало грамотный рабочий, слесарь, но, видать, человек мужественный – невзирая ни на какие угрозы, категорически отказался от показаний на тебя.

И тут я вспомнил чисто случайно возникшую беседу в узком кругу товарищей, после прочтения газетной статьи об антипартийной группе – Троцкого, Бухарина, Каменева, Зиновьева и др. Это касалось высказывания Бухарина об «устойчивости мелкотоварного производства». В убедительности его доводов, касающихся крестьянства, я не усомнился, соприкоснувшись самым активным образом с коллективизацией. Я высказал мнение о возможной причастности Бухарина к иному виду антипартийным деяниям.

Соснович Антон – белорус, сирота, заброшенный изменчивой судьбой в наши края. Честный, порядочный человек, простой рабочий-слесарь, живущий со мной в одном доме, мой товарищ, оказался настоящим другом – давал показания следователю Рюрику в мою пользу, не боясь угроз, зная, что меня постигла беда, веря в мою гражданскую совесть. Святая ложь – а ведь он слышал мои разглагольствования о «теории устойчивости мелкотоварного производства».

Окаев Гамзат, мой односельчанин – тоже сосед, одноклассник, тупой увалень. С трудом окончил семилетку, шефство приходилось брать над ним, я занимался с ним часами.

Трусливый, только и знал, что прятался за мою спину, если случалась схватка с ребятами. Но в люди выбился, хотя и начал рабочим на складе горторга. Умел услужить начальству, щедро одарить нужно человека. Теперь заведует складом.

Как же это он меня «заложил»? Неблагодарный! Я ведь содействовал его трудоустройству, возвышению.

Он ведь лучше других знал, что я не враг народа. Да и как мог быть им сын, можно сказать, пролетария, безземельного кустаря-отходника, который с семи лет был приобщён к тяжёлому труду лудильщика-скитальца.

Как я, беднейший из бедных, мог быть неблагодарным той власти и партии, которая дала мне высшее образование, почётную должность и все те блага жизни, о которых даже мечтать не могли мои предки! И откуда у меня может взяться протурецкая ориентация? Я как историк и марксист ясно сознавал выгодность присоединения горцев Дагестана к такому могучему государству, как Россия, нежели тянуться через моря и страны к далёкой Турции, могущество которой давно растоптано колесом истории, катящимся по развалинам империи?

Я ведь высказал свой взгляд, быть может, ошибочный. А сколько подобных взглядов, мнений и убеждений скрыто в недоступном глазу и слуху, в кладовых человеческого мозга!

И почему, проживший свою недолгую жизнь набело, которую можно проследить, как букашку, движущуюся на ладони, оказался без вины виноватым в том, что даже в голову мне не приходило?

И в то же время такой как «Рюрик Иванович» облечён высоким доверием только потому, что он – воспитанник детского дома.

А уж если говорить откровенно, в то смутное время революционного переворота, во время бегства, отчаянных и горячих схваток, теряли не только свои состояния, но и детей. И где им было воспитываться, как не в детских домах. И могли ли те из них, которые, как Рюрик, видели гибель близких на пепелище поместий, простить Советской Власти содеянное?

Думы обо всём этом теснили мою грудь, и тем сильнее, чем яснее сознавал я, что попал в полосу «политического циклона», движущегося по нашей стране по воле непонятных сил.

Саша Смирнов – настоящий большевик, честный чекист; он, конечно, старался мне помочь – но каким образом, если такая улика налицо?

Мне не ведомо, что и как докладывал он обо мне высшему начальству, которое, безусловно, хотело покончить с моим делом, как и положено в таких случаях.

Я не сомневался в том, что он всяко старался вызволить меня, – он намёками, а иногда и прямыми советами учил меня, как вести себя на «заседании тройки» (закрытом суде), от которого ему не удалось меня избавить.

Также не доверил бы мне тайны так потрясших меня фактов, как аресты и самоубийства среди оперативных работников НКВД.

Саша говорил:

– На днях арестовали Али Османова, начальника райотдела – ты знаешь его, бывший футболист.

А вчера прямо в кабинете застрелился Кольченко – в Чапаевской дивизии служил, оружием именованным был награждён.

Что-то непонятное творится и в наших органах, – говорил он тихо, задумчиво глядя перед собой.

А тот ужас на последнем допросе потряс меня настолько, что я впал на некоторое время в состояние невменяемости.

...Вызов на очередной допрос.

В кабинете, как обычно, за столом Смирнов. Я поздоровался. Он сухо кивнул головой.

– Разрешите сесть?

– Садись, – с трудом выдохнул он из груди.

Я смотрю ему в лицо. Он отводит взгляд. Губы сжаты, лицо бледно, на правой щеке у выступа скулы нервно подёргивается мускул.

Я ничего не могу понять. Эта резкая перемена в поведении не только озадачила, насторожила, но и взволновала. Я перевёл взгляд на свои руки, лежащие на коленях, и стал ждать.

За дверью послышались быстрые шаги. С шумом распахнулись двери кабинета. Вошли трое, все в форме. Один из них подошёл ко мне вплотную. Я поднял голову. Мы впились глазами друг в друга. Смуглое, сухощавое лицо инквизитора, горящие ненавистью глаза, бесформенные, тонкие губы, искажённые дьявольской улыбкой, превратились в плотную складку.

Вдруг складка разошлась, показывая мелкий, редкий частокол жёлтых прокуренных зубов, через которые он стал процеживать:

– Подлец! До каких пор ты будешь отпираться, выдавать троцкистско-бухаринскую пропаганду за случайно высказанное мнение.

Он, словно стервятник – крылья, поднял надо мной обе руки с согнутыми, как когти, пальцами.

Я отшатнулся.

– Да если бы не Сталинская конституция, я бы разорвал тебя на части вот этими руками!

Я вскочил со стула, и, в свою очередь, окинув его презрительным взглядом, дерзко заметил:

– Так, значит вы недовольны Сталинской конституцией, нечего сказать, чекист!

Он с площадной бранью кинулся на меня. Ударом ноги ниже пояса я отшвырнул его: если бы двое стоящих сзади не подхватили, он бы ударился об стену.

И в это время раздался выстрел.

Я глянул на Смирнова и заметил, как рука его медленно опустилась от виска, из неё выпал браунинг и сам он мешковато стал валиться на бок.

– Саша, дорогой! – не своим голосом закричал я, кинулся к нему.

Но меня схватили. Я вырвался, изрыгая из себя потоки самой гнусной площадной брани и проклятий, каких никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не произносил.

Во мне проснулся зверь, мне хотелось рвать, метать, бить, ломать. Но множество крепких рук сковали меня, скрутили руки за спину, связали ремнями, свалили на пол, а ноги, которыми я пытался угодить в скрутивших меня, тоже связали. Не знаю, сколько я катался на полу, скрежетал зубами, как пойманный зверь, пока силы не покинули меня.

Судила меня «тройка». Приговор – десять лет строгой изоляции.

Через несколько дней после вынесения приговора меня, вместе с парией других осуждённых, ночью посадили в грузовик и повезли в сторону вокзала. Февральская метель кружила по пустынным улицам. Ледяной холод пронизывал всё тело. Съёжившись, мы старались греться друг о друга.

Длинный товарняк стоял в глухом и плохо освещённом тупике.

Автомашину подкатали почти к самому составу. Под бдительными взорами конвоиров, ставших в два ряда, нас по одному стали ссаживать с кузова и тут же, под их обрывистые окрики «поживей в вагоны», мы взбирались в вагон товарняка. На полу мрачного пульмана была расстелена солома. Арестанты – те, кто вошли первыми – усаживались у стен, остальные – где поудобнее; молча, бесшумно.

Когда затворили тяжёлую дверь и послышался лязг железного затвора, те, кто оказался у входа, поднялись и потянулись к решёткам высоких, маленьких окошек. Видимо, каждому хотелось окинуть прощальным взглядом погружённую в сон окраину родного города.

Разговаривали шёпотом, словно боясь о чём-то проговориться. Послышался свисток дежурного, поезд дрогнул и тронулся. Под монотонное постукивание колёс, постепенно набирая скорость, состав покатил полем на северо-запад.

Трудно подобрать слова, чтоб описать моё душевное состояние. Остаток ночи я провёл в какой-то тягостной полудрёме, ворочаясь с боку на бок.

Сумрачный рассвет, серое утро... Лишь к полудню кто-то привстал, присел, поднялся на ноги и с безразличием огляделся вокруг.

Но жизнь есть жизнь, и любая обстановка становится переносимой – тем более среди людей, связанных одной участью. Великий дар человеческой природы – речь – сближает людей, никогда не знавших друг друга, вызывает сочувствие, симпатию, взаимно утешает даже самых угрюмых.

Встречаются и такие, которых не угнетает никакая обстановка – не унывают в самых тяжёлых условиях, своим оптимизмом, покладистым веселым характером приносят успокоение. К счастью, такой человек оказался рядом со мной.

Это был небольшого роста, незаметный человек. Всю ночь, лёжа рядом, он старался прижаться к моей широкой спине, и я, не зная его прежде, почему-то подумал, что это молодой парнишка – легко одетый, наверное, мёрзнет. Как только я шевельнулся, он приподнялся, и словно извиняясь, с виноватой добродушной улыбкой воскликнул:

– Привет, братцы!

Кое-кто буркнул в ответ, а некоторые даже не повернули головы. Я поздоровался и стал бесцеремонно разглядывать его.

Это был не юноша, а мужчина средних лет и, как я уже сказал, внешне тщедушный. Пока я его разглядывал, он с волчьим аппетитом уминал часть своей пайки, запивая водой из фляжки.

Когда с немудрёной трапезой было покончено, сосед вытер рот тряпицей, которую достал из кармана, затем, обратившись ко мне, сказал:

– Не будете возражать, если я закурю?

– Курите, курят же все другие и никого не спрашивают.

– Да, оно-то так, но есть и мужчины, которые не выносят дыма, тем более махорочного.

– Мы – не в мягком вагоне, привыкли выносить всё, – махнув рукой, сказал я.

Прикурив самокрутку, он с удовольствием затянулся ароматным дымком, затем, поглядев на меня внимательно, протянул руку:

– Будем знакомы, Иван Семёнович, поэт.

Я пожал его небольшую кисть с длинными тонкими пальцами:

– Магомед-Гирей, историк.

К тому времени в вагоне почти все перезнакомились друг с другом и предались беседам в клубах махорочного дыма.

Весёлый по характеру не унывающий, Иван Семёнович оказался словоохотливым собеседником. Этот, как я убедился, интеллеktуал, не лишённый тонкого юмора, несмотря на свою серенькую внешность, становился ярким и каким-то необыкновенным, как только начинал говорить. Быть может, так казалось. Мне нравились остроумные люди, умеющие вести себя, не подчёркивая своего превосходства и не унижая достоинства других. Я сразу почувствовал, что общение с этим человеком будет доставлять мне удовольствие.

Немногие люди бывают самокритичны. Большинство из них, – в особенности посредственные и ограниченные – влюблены в себя, не сомневаются в своём превосходстве над остальными.

Не зря сказал какой-то мудрец, что дурак, осознающий, что он дурак – не дурак. К счастью, я тоже часто сомневался в своих умственных способностях, относил себя к людям обыкновенным и твёрдо помнил арабскую поговорку – жизнь, от колыбели до могилы, есть наука.

Мне доставляло удовольствие общение с умными людьми – в особенности со стариками, умудрёнными опытом и знанием жизни, теми, кто превосходил меня.

В том, что Иван Семёнович превосходит меня в образованности, культуре, я понял с первого часа и потянулся к нему. Однако внешне я старался держаться независимо, не желая поддаваться первому впечатлению.

Прекрасно знал Иван Семёнович литературу – классическую, отечественную, зарубежную, современную, историческую, западную и восточную, европейскую и азиатскую. Он хорошо разбирался в юриспруденции, истории, астрономии, библии, музыке.

Этот щедедушный, ничем не приметный внешне человек в течение нескольких дней завладел душами почти всех временных обитателей пультмана. Его правдивые и вымышленные весёлые рассказы и анекдоты на все случаи жизни можно было слушать сутками. Подносил он их артистично, меняя говор, интонации голоса, акцент. Вызывая гомерический хохот, он никогда не смеялся сам.

Ехали мы долго. Как я уже говорил, нас пересаживали в другие поезда под покровом глухой ночи. Но однажды, на безлюдном полустанке, затерянном в бескрайних заиндевелых степных просторах Севера, нас высадили днём.

С хмурого неба просеивалась сухая крупа. Дул пронизывающий холодный ветер. Небольшое помещение «зала ожидания» было битком набито арестантами, прибывшими сюда с другими составами.

В помещении царил полумрак. Густой махорочный дым вместе с испарением вываливался клубами наружу, как только кто-нибудь распахивал дверь. Запах кислого пота и всякого курева разил вошедших. Но эти одуряющие арестантские «ароматы» переносились легче, чем леденящий холод.

Наша группа с трудом протиснулась и стала около дверей. Мы старались держаться друг возле друга, ибо большинство прибывших раньше нас размесились по углам, поглядывая в нашу сторону, как неприветливые хозяева на нежеланных гостей.

Около часа мы переминались, стоя, с ноги на ногу в ожидании этапа.

Полустанок был расположен на небольшом расстоянии между полотном железной дороги и речным причалом. Через некоторое время со стороны реки раздался гудок. Люди оживились, потянулись к окнам, к двери. Вскоре раздалась команда, относящаяся к одной из групп арестантов. Они повставали с мест и устремились к выходу.

Мы расположились на освободившемся месте на полу – единственная огромная скамья, тянувшаяся вдоль окон, была занята, как мы позже узнали, уголовниками. Последние чувствовали себя здесь хозяевами, громко разговаривали, пересыпая речь отборной матерной бранью. Они резались в самодельные карты и, с пренебрежительной иронией поглядывая на нас, на блатном жаргоне перебрасывались словами.

На этом полустанке впервые обратил внимание на более обходительное обращение конвоиров с уголовниками и вообще на их «привилегированное», если так можно сказать, положение по сравнению с нами – политическими.

Здесь, как «чужой», даже Иван Семёнович притих. Он уселся и, вытянув ноги рядом со мной, с нескрываемым любопытством, не открывая глаз, смотрел в сторону блатных, крепко прижав к животу вещевой мешок.

Я искоса поглядывал на своего нового друга и невольно улыбался. На небольшой голове его, небритого, была нахлобучена огромная ушанка из дешёвого светлого меха. Над длинной тонкой шеей она была похожа на гигантский гриб.

Когда дали команду погружаться на баржу партии уголовников, один из уркачей, проходя мимо, схватил с головы Ивана Семёновича ушанку, а вместо неё нахлобучил свой старый картуз. Никто на это не прореагировал, а Иван Семёнович, растерянно глядя вслед уходящему, мигал глазами.

Возмущённый наглым поступком воруги, я вскочил с места, схватил картуз с головы Ивана Семёновича, догнал уркача, сорвал с его головы ушанку, и швырнул ему в лицо картуз.

Всё это произошло в какие-то считанные секунды. Конвоиры успели схватить меня в ту минуту, когда я занёс над ним кулак. Уголовник ринулся на меня, я но успел лягнуть его ногой.

Ему ничего не оставалось, как обложить меня трёхэтажным матом и, напялив свой картуз, поспешить на посадку.

Когда я вернулся к дверям вокзала, увидел пробку, образовавшуюся у выхода.

Однако юркий Иван Семёнович успел прорваться первым ко мне.

– Магомед-Гирей, какой же вы неосторожный! Разве можно? А если бы он вас пырнул ножом, это же уголовники... Пусть бы шёл ко всем чертям с этой ушанкой, – говорил он укоризненно, качая головой.

Я молча вошёл и сел на своё место.

– Зря вы, – продолжал поэт, – не стоит эта ушанка такого вашего внимания.

– Нет, стоит, – воскликнул кто-то. – Иначе эта братва и штаны начнёт стягивать с нас.

– Хорошо поучил, чтоб не повадно было!

– Но зачем же рисковать собой! – не унимался Иван Семёнович.

– С моих предков сорвать шапку можно было только с головой.

В сумерках короткого ноябрьского дня нас посадили в трюм маленького речного пароходика. По сравнению с пультманом и грязным помещением полустанка слабо освещённый трюм нам казался по-домашнему уютным, чистым, тёплым.

Мы с Иваном Семёновичем забрались на третий ярус нар, где впервые за много дней дорожных мучений отведали горячей похлёбки на ужин, вспоминая инцидент с ушанкой.

Благодарный Иван Семёнович без всякой лести начал восторгаться моей силой и ловкостью и сетовал на свою судьбу за то, что обошла его внешней красотой и физической силой.

Он говорил:

– Всю жизнь дворовые мальчишки и школьные друзья дразнили меня, напевая «цыплёнок жареный, цыплёнок пареный, цыплёнок тоже хочет жить». – А теперь я сам себе подпеваю: – «его поймали, арестовали».

А я утешал:

– Не огорчайся, Иван Семёнович, зато природа наделила тебя умом, доброй душой, этот ведь не хуже грубой силы.

– Да, оно так, но ведь первое, что бросается в глаза и впечатляет – это внешность. Поди за недолгую жизнь свою не одну зазнобу охмурили, не одну красавицу горянку обрекли на бессонные ночи, а меня, кажется, никогда ни одна женщина по-женски не любила. Во мне девочки видели подружку, а не мужчину.

А я вот любил, безответно любил одну женщину и так страдал, так мучился! Ни красноречие, ни стихи не помогали, хотя старался я не меньше, чем Сирано де Бержерак. Видать, не суждено мне было насладиться чувством взаимной любви.

Однажды, – продолжил Иван Семенович, – в одном из столичных журналов я прочёл стихотворение – имя автора запомнил – так вот, этот поэт отрицательно писал о каких-то мальчиках, у которых изнежены пальчики, а вот у него, мол, ручищи рабочие, грубые и т. д. и т. п.

Читал я и думал, какой же невежда этот поэт. Да разве мы, так называемые «слабаки» от рождения или от недоедания, виноваты в том, что наши пальчики тонкие и слабые! Обладают ли такие поэты душой поэта, не понимая того, что физические недостатки нигде и никогда нельзя ставить в вину? Скажем, каково было мне сегодня осознавать, что я не могу защитить сам себя, зная, что любой средний мужчина сомнёт меня как букашку. И с какой белой завистью, с каким восхищением смотрели люди, когда ты одним жестом сшиб и осадил негодяя.

Мне стало очень жалко его. И я, желая успокоить несчастного, начал говорить:

– Физически сила сама по себе хороша, но иногда без ловкости обладателя этой силы может не хватить. Иногда кажущиеся слабосильными, но ловкие и обученные специальным

приёмам борьбы могут запросто справиться со здоровяками. И как пример привёл случай, ставший сенсационным в Америке, о котором мне рассказали.

По одной из улиц Вашингтона или Нью-Йорка шли четверо рослых парней. Навстречу семенил небольшого росточка хиленький японец. «Хозяева жизни» шагали важно, во всю ширину тротуара. Встречному японцу ничего не оставалось, как юркнуть между здоровяками. Разумеется, при этом он толкнул одного или двух парней. Но пройти мимо японцу не удалось. Один из парней схватил его за шиворот, поставил пред собой и приказал: – Извинись!

И тут произошло самое неожиданное – поразившее одних, приведшее в восторг других. Маленький японец вывернулся из рук здоровяка, ловким движением сшиб его с ног, а в следующее мгновение раскидал по тротуару остальных троих. Падкая на подобные конфликтные сенсации американская толпа зааплодировала, восторгаясь японцем.

Я заметил, как засияли глаза Ивана Семёновича. Потом в угоду ему я стал говорить о современной русской литературе. Конечно же, в этой области литературы, по сравнению с Иваном Семёновичем я был профан.

Многое из того, что он читал, было не знакомо мне, поскольку мне приходилось читать только книги, знание которых требовали в школе, институте, и называли интересными. Но среди бесконечного перечня были и такие, которые мне приходилось читать. Я высказывал своё мнение, мы даже вступали в спор.

Когда-то я прочёл книгу о войне с интересом, многое позабыл, но запомнил один эпизод, неудачно описанный автором. Посланный на вылазку из осаждённой крепости солдат был схвачен турками. Командовал аскерами султана под Баязетом Кази-Магома, средний сын имама Шамиля, сопровождавший отца, которому царь Александр Второй разрешил совершить паломничество к святыням Ислама – в Мекку и Медину, где имам и скончался.

Кази-Магома не вернулся в Россию, поселился в Стамбуле и во время Крымской войны был военачальником у турецкого султана.

Так вот, автор пишет о том, что когда пленного русского солдата привели к Кази-Магома, последний приказал посадить «гяура» на кол.

Я уж не хочу говорить о тех мельчайших изуверских подробностях в описании самого процесса казни, хотя невольно напрашивался вопрос – откуда мог знать автор, что чувствовал несчастный солдат в этот ужасный момент. Скорее всего, не успел почувствовать, куда и как льётся кровь, тут же потерял сознание от болевого шока.

Но дело не в этом, а в самой форме казни. Ни в какие времена кавказских войн горцы никогда не применяли этот вид унижительного уничтожения противника, не касались срамных мест, а ограничивались отсечением головы.

– Иван Семёнович, пойми меня правильно, не один истинный джигит, уважающий себя горец Дагестана, истинный воин, мужчина, а тем более сын имама не позволил бы себе такую дикость.

– Гирей Магомедов – седьмой барак!

... Когда очередь дошла до Ивана Семёновича, он обратился к разводящему:

– Гражданин начальник, прошу вас, поместите меня с Магомедовым в одном бараке.

– Нет там места, вот разве только в проходе, у самих дверей.

– Я согласен, хоть где-нибудь.

Разводящий сделал пометки в списках, затем сказал:

– Нумерация барачков начинается вот от этого здания больницы, – и, протянув руку, указал пальцем в сторону приземистого двухэтажного деревянного здания.

Мы с Иваном отделились от группы этапированных и направились в сторону, где должен был находиться барак № 7.

В небольшом коридоре, не отделённом от длинного барака, мы остановились, вглядываясь в полумрак низкого помещения. Вдоль стен в три яруса были установлены деревянные нары. Посреди барака стоял длинный – во весь барак – узкий стол с такими же длинными деревянными скамьями.

В небольших промежутках между нарами виделись маленькие, зарешёченные оконца. Освещался огромный барак двумя лампочками.

От разбросанного на нарах различного барахла и раскиданных на полу кирзовых сапог, валенок и прочего вид барака производил удручающее впечатление, а запах дыма, смешанного с испарениями, исходившими от десятков людей, действовал одуряющее на вошедшего со двора.

Увидев нас, стоящих в нерешительности, один из зеков с рыженькими усиками и узким лисьим лицом, соскользнув с ближайших нар, схватил с пола какую-то тряпку, стряхнул её и, расстелив перед нами, воскликнул со слащавой улыбочкой, отвесив низкий поклон:

– Добро пожаловать, господа из пятьдесят восьмой статьи – если я не ошибаюсь...

– Уголовник, хамлюга, – подумал я и, поддев носком сапога тряпку, швырнул её в сторону обладателя лисьей мордочки.

– Ого, видать калачик не тёртый, – послышался чей-то голос с нижних нар.

Не обращая ни на кого внимания, отыскал тут же поблизости пустые нары, подошёл к ним, кинул вещмешок и присел. То же самое сделал Иван Семёнович. Так мы просидели некоторое время, усталые, не реагирующие на любопытные взгляды зеков, устало развалившихся после работы и ужина на своих матрасах, набитых соломой.

– Ваня, давай устраивайся здесь, а я пойду вон на то свободное место, – сказал я, кивнув головою на топчан, стоявший возле входа.

– Нет, нет, ни в коем случае, то место моё, я ведь сам напросился, – стал возмущаться Иван. Но я удержал его, убедив, что мне будет лучше в прохладном месте.

Когда я со своими вещмешком направился было к топчану, здоровенный, худой верзила, лежавший, закинув руки за голову на одной из нар нижнего ряда, шевельнув длинной ногой в кирзовом сапоге, что-то прохрипел, глядя злыми глазами из-под полуприкрытых тяжёлых красных век.

Я глянул на него с презрением и отвернулся. Но когда я проходил мимо его нар, он рывком скользнул вперёд и ударил меня носком сапога в бок.

– Вы что хамите, молодой человек! – возмущённо воскликнул Иван Семёнович, а я швырнул свою ношу на пол, схватил обеими руками ту самую ногу, которую верзила не успел отдернуть и со всего маху сбросил его с нар на пол.

– Ого! Ты гля! Видать фартовый антилягент, «Шкелета» положил на пол, – послышались грубые голоса.

Я, стараясь не выдать внутреннего волнения, стоял спокойно, выжидая, пока поднимется «Шкелет».

Широкостный, истощённый, с выдающимися скулами, тяжёлой нижней челюстью, он на самом деле казался походившим на скелет гигантом.

Неторопливо поднявшись с пола, он стал, растопырив ноги, потёр ладонь о ладонь, медленно засучил рукава грязной холщовой рубахи, затем чуть прогнулся вперёд, протянул в мою сторону длинные руки со скрюченными, как у стариков, узловатыми пальцами.

Не шевелясь, продолжил я стоять, разглядывая движения противника, чтобы половчее отразить его нападение.

Кто-то из дружков, видя, что «Шкелет» в нерешительности сделал шаг вправо, затем влево, не выдержав, воскликнул:

– Медленно шевелишь костями.

Я не испугался, видя перед собой неуклюжего истощённого гиганта. Единственное, чего я боялся, это нападения его дружков сзади.

Но уголовники, как большинство тупых бездумных людей, любящих острые ощущения, вызываемые силовыми и кровавыми зрелищами, приняли напряжённые позы наблюдателей.

Наконец «Шкелет» качнулся в мою сторону и сделал попытку схватить меня за горло.

Я мгновенно вывернулся и молниеносным рывком нанёс удар головой в его лицо. Следующим движением, схватив руку вывернул её за спину и когда он развернулся боком в мою сторону сильным ударом носка по Ахиллесову сухожилию той ноги, на которую он опирался, свалил его на пол.

Всё это произошло в какие-то доли минуты.

Охотников заступаться за «Шкелета», накинуться на меня не нашлось.

Я убеждён, что для людей ограниченных, не приклоняющихся перед силой ума, самым убедительным авторитетом является физическая сила, которая, к счастью, во мне ещё не была утрачена каторжным трудом.

А тут ещё и Иван Семёнович, выступив вперёд, торжественно, в центр барака, воскликнул: – Магомед-Гирей – человек с Кавказа, – словно давал тем самым понять, что со мной лучше не связываться.

Однако сам Иван Семёнович порядком струсил, но, несмотря на это, как только я уложил второй раз «Шкелета» на пол и снова стал в ожидании, пока противник поднимется, он, что называется, обеспечил безопасность тыла, встав спиной к моей спине.

«Шкелет» «капитулировал». Я поднял свой мешок, пошёл к топчану. Иван Семёнович последовал за мной. Он не отходил от меня ни на шаг. В первую ночь не сомкнул глаз, боясь, что «Шкелет» или кто-либо из других уголовников нападёт на меня.

На вторую ночь я запретил Ивану Семёновичу караулить меня. Нехотя он ушёл, когда в бараке погасили свет. На утро я не обнаружил своего вещевого мешка.

Нас зачислили в бригаду тягачей в угольную шахту. Узенькая колея, вагонетки. Норма для всех одна. Мне, ещё сильному физически, это удавалось, а вот Ивану Семёновичу было очень трудно.

А дело было поставлено так, что если не выработаешь норму, значит, не получишь полную пайку хлеба. А если не поешь, силы вовсе иссякнут. Мне приходилось толкать вагонетки свои, а потом помогать Ивану Семёновичу, ибо я видел, как он выбивался из сил, но не подает виду.

Вскоре стал падать от усталости и я.

Тогда решил обратиться с просьбой к «Тузу». Так называли повара арестантской кухни. Он тоже был из наших, только сидел за растрату.

Меня отталкивала эта категория арестантов – вёртких, лживых, наглых, для которых ничего не значило стянуть что-либо не только у «быдла», но и у своего.

Но «Туз» отличался от них своей гордостью, надменным видом, одет он был лучше остальных – ну, в общем, аристократ среди воров. Он с презрением смотрел на «щипачей» (карманников), «скокорей» (домушников). Почтительно относился только к медвежатникам и политическим.

Как я узнал позже, это был крупный аферист, который на свободе ворочал тысячами. Ну, скажем, ему становилось известно, что какой-то цеховик, артельщик сделал на оборотах крупную сумму.

Обычно дельцы такого разряда деньги в сберкассе не хранят, а стараются обратить часть их в ценности, а остальные держат при себе. Наколов такого «птенчика», «Туз» посылает к нему «уполномоченных», которые предупреждают, что «дело пахнет керосином».

«Птенчик» начинает «трепыхать», «чирикать», «кладёт» «уполномоченным», которые «обещает помочь», «на лапу». А через некоторое время строго конфиденциально, на нейтральной зоне происходит встреча «Туза» с «птенчиком».

«Туз», разодетый в форму работника НКВД, раскрывает перед «птенчиком» солидную папку с донесениями и показаниями «свидетелей», имеющих отношение к подельникам, участвовавшим в оборотах, и даёт слово в присутствии «птенчика» сжечь «дело», если он выложит означенную сумму, которую ему – «Тузу» – надо будет разделить с начальством.

«Птенчик» облегчённо вздыхает, когда в камине одной из загородных дач «дутое дело», объятые пламенем, превращается в пепел.

«Туз» – это фигура, прожигавшая жизнь. Лучшие курорты страны, фешенебельные гостиницы, рестораны, роскошные квартиры, проститутки высшего класса – всё это этапы, пройденные им.

Даже в этом сыром бараке у «Туза» всё самое лучшее: начиная с перстня – правда, серебряного – и кончая овчинным тулупом. У него, как у всех, одна мечта – побыстрее отбыть срок и предаться прежней жизни, легко делая деньги. Он не унывает, потому что верен себе.

Он не только горд, самоуверен – где-то в нём проявляется и «благородство». К тому же и манеры у него «аристократические», и речь – хоть и не терпящая возражений, но мягкая. Он никогда не выражается, не употребляет в словесных излияниях площадную брань, даже когда бывает «на взводе».

С ним считаются не только «урки», но к нему хорошо относится даже лагерное начальство – потому что он аферист, которого нельзя сравнить даже с блатным авторитетом.

К счастью, упрашивать «Туза» не пришлось.

Я подошёл к нему и стал говорить: – так, мол, и так, пропадёт хороший человек из-за физической слабости, помоги, мол, устроить его кухонным рабочим.

«Туз» подумал с минутку и ответил: – не обещаю, но постараюсь для тебя, как для земляка.

И постарался. Через несколько дней мой Ванюша чистил картофель и драил полы в столовой и в подсобках.

Жить нам стало значительно легче. Иван Семёнович ухитрился приносить несколько варёных картофелин или кусок лепешки, испечённой с пшённой крупы.

Иван Семёнович, как уже говорил, по натуре был не только общительным, но и очень любопытным человеком.

По вечерам он иногда присаживался к группе играющих в самодельные карты и мог часами наблюдать за их игрой, слушая споры, а иногда, в спорных случаях, выступал у них в роли арбитра, и это у него получалось. С его мнением считались, потому что оно было объективным.

Побывав в обществе урок, он непременно производил записи на полосках газетной бумаги огрызком карандаша.

Ты что это, друг, для будущих сочинений пометки делаешь? – спрашивал я.

– Да нет, – отвечал Иван Семёнович, – это я записываю жаргон, неологизмы. Вот, например: «толкать порожняк», «скачуха», «фуфлыжник», «мастырка», «баландер» – целый словарь можно составить. Дело стоящее!

– Да, конечно – может, после отбытия срока пополнишь толковый словарь Даля, – шутил я.

Но моего доброго повара «Туза» вскоре куда-то перевели и нам опять стало очень трудно.

В один из ненастных апрельских дней Иван Семёнович сильно простудился и слёг. Всю ночь он метался в жару, а я, сидя рядом, без конца прикладывал холодный компресс к его горячему лбу. Утром его поместили в лазарет.

Рано утром до начала работы и поздно вечером после окончания трудового дня я спешил к нему. Засиживался до полуночи, исполняя роль сиделки.

Каждый раз, как только я появлялся, страдальческое выражение лица Ивана Семёновича освещалось лёгкой улыбкой, и он протягивал мне маленькую, словно вылепленную из воска, бледную руку. Видимо, с моим появлением в его душу вселялась надежда, и он возбуждённо начинал говорить, говорить о том, что теперь осталось совсем немного до конечного звонка, что скоро мы вместе покинем лагерь, я вернусь к своим, а он – к старушке-матери, а потом будем ездить друг к другу в гости. Я – к нему на Дон, а он – на Кавказ, где мы, как две вольные птицы, будем ловить рыбу и охотиться.

И даже будучи в тяжёлом состоянии, он находил в себе силы, чтобы забавлять меня импровизированным спектаклем или смешной историей. Я всяко старался поддержать в нём дух и надежду на выздоровление.

Но злему року угодно было распорядиться иначе. В ту последнюю ночь он попросил меня не уходить. С разрешения дежурного фельдшера, который сказал, что он – безнадёжный, я остался.

Иван Семенович, поглядев на меня затуманенным, каким-то отсутствующим взглядом, прошептал:

– Худо мне, брат. Наверное, «амбец котёнку».

– Да что ты, Ваня, ерунда, это, видимо, кризис. Бывает такое, ты даже можешь впасть в беспамятство, а потом словно возродишься.

Иван Семёнович закрыл глаза, и мне показалось, что он уснул. Через несколько минут он медленно, словно силясь, поднял веки и прошептал:

– Немеют, стынут руки, ноги будто не мои, но мне стало как-то легко, и кажется – на крыльях я опускаюсь в какое-то пространство.

И, словно боясь оторваться от мечты, Иван Семёнович крепко ухватился за мою руку, захрапел, затем, сделав глубокий вздох, застыл с широко раскрытыми глазами.

Это была смерть. Охваченный необъяснимым страхом, я рванулся с места и выбежал из палаты.

Было где-то около полуночи. Долго стоял я у дверей лагерьной больнички и смотрел на тёмное звёздное небо, грустную луну, и хотелось мне взвыть волком и в этом отчаянном вое выдавить из груди всю тоску и тупую душевную боль. Особенно в эту минуту я осознал тяжесть утраты преданного друга.

«В жизни трудно найти истинного друга» – гласит кавказская поговорка. Для меня он нашёлся без труда, случайно, на самых честных беспристрастных началах, на основе взаимного уважения, которое со временем сроднило души, скрепленные серыми буднями лагерьной жизни.

Глотая горький ком, подкатывающийся к горлу, я сетовал на судьбу за то, что она потропила у меня и этого единственного друга на этом далеком Севере.

Удручённый смертью Ивана Семёновича, где-то далеко за полночь вошёл я в барак, сел на свою постель и просидел до утра, не смыкая глаз.

Как я уже говорил, кроме старушки-матери у Ивана Семёновича никого не было. Покойный не раз говорил мне: «...Если со мной что-нибудь случится, не сообщай ей. Пусть старушка живёт надеждой, это гораздо лучше, чем безнадёжность».

Я оказался единственным человеком, который мог оплакивать смерть и скорбеть о нём.

До истечения срока оставалось 5 лет. Надо было во что бы то на стало выжить ради встречи с родными, близкими, ради того, чтобы ещё раз побывать на родине и отомстить Гамзату.

Я испытывал мучительную тяжесть полного одиночества среди массы людей. Мне не хотелось ни с кем заводить дружбу ибо я был уверен или просто мне казалось, что такого друга, как Иван Семёнович, не найти.

По своему характеру, несмотря на общительность с окружающими, я с трудом сближаюсь с людьми, а уж коли сближусь, с трудом расстаюсь.

Помню, когда я был мальчишкой, у меня была собака Див, из породы кавказских овчарок.

Я принёс её щенком и не расставался с ней. Див сопровождал меня в школу, приходил встречать ко времени окончания уроков. В ожидании меня садился неподалеку от ворот и поглядывал на ребят, гурьбой вываливающихся из дверей. Вытянув морду, видимо, втягивая воздух, он не отрывал глаз от ворот и терпеливо ожидал моего появления. Иногда, балуясь, я нарочно прятался от своего четвероногого друга, желая испытать, уйдёт он, в конце концов, или нет – но Див упрямо ждал. Если же он случайно обнаруживал меня за дверью или забором, тут же поднимался, бежал ко мне и, недоумённо глядя в мои глаза, извинительно скаля зубы, вроде бы хотел спросить: «что все это значит?»

Где бы мы не играли, куда бы не уходили в воскресные дни и каникулярное время, Див непременно сопровождал меня и был участником наших игр и шалостей.

И вдруг однажды, зимним утром, нашёл Дива мёртвым в конуре. Переживанию моему не было предела. С трудом отсидел я в тот день на уроках, а после окончания мы с друзьями и соседским мальчишками завернули Дива в мешок, вывезли за город и похоронили в лощине. С тех пор я не заводил собак, боясь привязаться и снова испытать горечь утраты. Ведь собаки живут 10–15 лет.

В лагерях, где серые стандартные будни ползут медленно, как гроззовые тучи по безветренному небу, не только годы, но и месяцы кажутся бесконечно длинными.

Но как бы там не было, а время шло. И чем ближе становился последний день срока, тем тягостнее казалось чувство нетерпеливости. Отбыв срок, как говорится «от звонка до звонка», я не почувствовал той естественной радости и понятного облегчения, которые испытывает человек и, наверное, все живые существа, вырвавшиеся на волю.

Я не сомневался в том, что снова окажусь здесь или в другом месте ссылок. И эту неопишемую тяжесть жизни, к которой привык, как к постоянной боли, буду переносить гораздо легче после отмищения – потому что буду знать, за что сижу, и не только знать, но и торжествовать, как смертельно ранений победитель, дорого отплативший за свою жизнь.

Все эти годы не я не писал писем родным, а, следовательно, и от них не получал. Не сообщил я и о днях освобождения и приезда – потому что ещё не решил, покажусь близким или исчезну, поразив врага в спину под покровом ночи.

Но с каждым часом ощущение блаженства свободы и радости встречи с родными и близкими становились острее, и планы рушились.

В своём решении я не колебался, вот только время исполнения решил немного оттянуть, чтобы побыть хоть немного с теми, кого горячо любил и по ком истосковался до изнеможения. Какими они теперь стали: мать, дети, жена? Может, они потеряли веру в моё возвращение и смирились с горькой мыслью утраты – но нет, неизвестность согревает, теплит надежду.

Свобода! Истинную цену ей может знать только тот, кто был её лишён, и привыкаешь к ней не сразу – хотя и легче, чем к неволе.

Освободившись, я вернулся домой в 47-м году.

Бесконечно долгий путь в обратном направлении тоже был нелёгок. Нелёгок потому, что люди, встречные и попутчики, догадывались или видели во мне бывшего узника.

Я потерянно ощущал на себе их взгляды – сочувствующие, презирующие, настороженные, недоверчивые, и от этого мне становилось тяжело. Потому я старался забиться в какой-

нибудь угол или влезть на самую верхнюю багажную полку – в особенности, когда пассажиры раскрывали свои саквояжи, корзины, чемоданы со снедью.

Конечно же, я истосковался и по домашней пище и, как всякий полуголодный человек, остро ощущал запах съестного.

И, как поётся в песенке, «ехали мы ехали, ехали мы ехали и, наконец, приехали...»

В родной город я постарался прибыть вечерним поездом. Поздно вечером, войдя с бьющимся от волнения сердцем в знакомый двор, я тихо постучал в двери.

– Кто там? – я услышал голос жены и дрожащими губами прошептал:

– Свои.

Зайнаб, видимо, не услышала и громко повторила:

– Кто там?

– Это я, Гирей.

Она открыла не сразу, но когда, наконец, дверь распахнулась, я почувствовал, что она, буквально как подкошенный столб, свалилась не меня. Я подхватил её и, можно сказать, внёс в комнату.

К нам кинулись, выбежав из спальни, дети – дочь кинулась к матери, а сыновья – оба – усталились на меня в испуге.

– Папа! – вдруг вырвалось из уст старшего. Он бросился ко мне на шею, за ним второй.

– Папочка, неужели это ты? Папа! Папа вернулся! – закричала дочь, не выпуская из рук рыдающую мать.

– Бабуля, бабуля, папа приехал, – закричал младший, бросившись в спальню.

Моя бедная старушка, превратившаяся в мощи, не в силах была подняться. Я подошёл к ней, стал на колени, прильнул к высохшей груди, а потом долго целовал её жилистые, морщинистые, узловатые руки. Она, улыбаясь, гладила моё лицо шероховатой ладонью и шептала:

– Слава Аллаху! Слава Аллаху! Дождалась светлого дня! Теперь я могу со спокойной душой переселиться в мир вечного покоя.

В ту же ночь мать скончалась. Это случались где-то около полуночи.

– Умерла! Омрачила мою радость! Дети мои! Спешите, зовите родных, соседей! – заголосила жена, заметалась по комнате, рыдая.

Я удержал сыновей и дочь:

– Не надо никого звать, не поднимайте шум, потерпите до утра, не стоит беспокоить людей – это горе, прежде всего, наше.

– Позовите хотя бы старика Исмаила, пусть прочтёт заупокойную, она была верующая, надо соблюдать все обряды, – не унималась жена.

– Успеем. Я хочу сам один побыть возле матери, оставьте меня с ней до утра, уйдите все, отдохните, завтра предстоит тяжёлый день.

С трудом мне удалось удалить детей и жену. Я не хотел, чтобы сыновья мужчины увидели, как плачет отец.

А слёзы душили, они клокотали во мне, как кипяток в переполненной чаше. И полились они бесшумными, неудержимыми струями, лились долго – всё, что скапливалось в моей душе за все эти годы страданий и мук.

Слёзы, когда человеку становится немого – они, наверное, и в самом деле вымывают ту черную горечь, неопишемую тяжесть, которые могут довести человека чёрт знает до чего...

Дав волю слезам впервые за много лет и выплакавшись, я сразу почувствовал облегчение и расслабленность.

Я видел смерть не раз – там, в ссылке, в суровом молчании застывал, склонив обнажённую голову перед её непобедимым величием и не только не сожалел, не скорбел об усопшем, а, напротив, даже рад был, что смертный избавился от мук земных. Но здесь, когда беспощад-

ное остриё «косы смерти» коснулось самого дорогого мне человека – матери – горю моему, казалось, не будет предела.

Согревая своими горячими руками коченеющие пальцы, согбенно сидел я возле покойной, пока петушиное пенье не вывело меня из состояния скованности.

Петушиное пенье, в котором так удачно сочетаются умиротворяющее и бодрящее. Эти звуки воскресили в моей памяти далёкие дни безмятежного детства, когда моя нежная, молодая, красивая мама нашёптывала, склоняясь над моей постелью:

– Ты слышал, а наш петушок уже проснулся, он зовёт тебя к бабушке.

К бабушке заносила она меня, уходя на работу.

Я разогнул спину, поднял голову, глянул в окно. Где-то за дальними горами загорелась утренняя заря. На тёмно-синем небе догорали одинокие звёзды.

Потом мой усталый взор скользнул и остановился на роскошной усадьбе Гамзата. На голубом фоне застеклённой веранды я увидел сияющую лаком «Победу». Видно, автомобиль мой бывший «друг» приобрёл после моего ареста.

Как только я вспомнил предательскую бессовестную ложь Гамзата, свои страдания, переживания семьи и горе, которое привело мою несчастную мать к этому часу, моё сознание затуманилось вспыхнувшей дикой злобой и жадной мести. Мне хотелось кинуться на его машину, дом, огнём и топором жечь, ломать, кромсать и, наконец, последним ударом сразить врага.

Я буквально подскочил с места и заходил из угла в угол, нервно ломая руки и едва сдерживая себя от страшного намерения.

– Подави в себе гнев. Не подчиняйся голосу зла. Не дай восторжествовать нечистой силе! – вдруг вспомнил я слова, которые часто повторяла моя бабушка, обращаясь ко мне в далёкие дни отрочества.

Я вспомнил свою бабушку, маленькую, седенькую, нежную, бесконечно добрую, которая собственной скупой лаской и религиозно-житейской мудростью могла покорить и подчинить своей скрытой воле не только нас, детишек, но и взрослых. Так вот, она постоянно, вселяя в мою детскую душу святую веру в Бога, убеждала, что в каждом человеке, как и во всей вселенной, постоянно происходит борьба между добром и злом, и что нередко приходят к власти злые духи и начинают править миром.

В каждом человеке, говорила она, живут два духа – дух добра и дух зла, которые постоянно соперничают и противоборствуют. И только тот, кто верует и обладает светлым разумом, способен при содействии священной воли Всевышнего подавить в себе гнев, приглушить зов злого духа, влекущего к злодеянию, во имя торжества добра, угодного Всевышнему.

Помню, в те легковёрные, буйные, бесшабашные годы отрочества и юности эта внушённая бабушкой мудрость не раз удерживала меня от совершения опрометчивых поступков, заставляла обойти «острые углы» при возникновении конфликтных ситуаций и не только сдерживать себя, но и удерживать тех, кто оказывается рядом.

Вот и теперь, превратившись в человека, неверующего ни во что святое, я невольно подчинился внушённым мне когда-то бабушкой изречениям мудрецов, в душе которых властвовал добрый дух, и подавлял в себе вспыхнувший гнев.

Я понимал, что теперь не время для мести. Я должен сполна принести последний долг матери, предать её земле, соблюсти все обряды в течение семи, сорока дней и годовщины.

Мне, ради моей любимой матери, безмерно страдавшей из-за меня, ради ее памяти, надо не быть дураком, не лезть напролом с поднятой рукой.

Бей врага его же оружием: вспомнил и слова, произнесённые где-то. Оружие Гамзата – коварство, предательство, скрытая затаённая злоба...

Видимо, то, что сделал Гамзат в отношении меня, не знают ни наши жёны, ни наши дети, иначе не пожелали бы мои домочадцы звать на помощь именно этих соседей в минуты кончины матери.

Я глянул на бледные, обострившиеся черты покойной. Но придёт ли он, Гамзат, в этот дом после того, как ему сообщат о моём возвращении? Выразит ли соболезнования или поздравит с приездом? Какими глазами он посмотрит на меня? И найду ли в себе силы, чтобы удержаться, не плюнуть в лицо, не издать вой раненого одинокого зверя...

Нет, этого делать нельзя. Это будет проявлением слабости. Горцы – наши отцы и деды – принимали достойно, с честью даже кровного врага, если он входил без оружия. Наши бабушки позволяли раскаявшемуся кровнику прикоснуться устами к материнской груди, и это означало, что из врага кровник превращался в сына.

Эти суровые обычаи и традиции, быть может, в те времена были нужны и имели значение – рыцарские. Быть может, был смысл мириться с одной жертвой, нежели подвергать целые родственные союзы уничтожению кровотошанием.

Но я не прощу Гамзату предательства, основанного на клевете, никогда. Лучше бы он меня сразил кинжалом в порыве злобы. Мне легче было принять смерть как мужчина от руки мужчины, нежели принять позор беспомощности и унижения. А за что – снова задавал себе вопрос и отвечал – ни за что, за добро, за преданную, чистую, бескорыстную дружбу.

От этих мыслей и дум меня отрезвила вошедшая жена. С заплаканным лицом, тихим голосом робко произнесла она:

– Уже рассвело, нельзя же так, надо сообщить людям, созвать своих.

Я молча кивнул головой и вышел из комнаты во двор. Здесь я увидел сыновей около стены, они готовили из досок скамьи для мужчин. Младший подбежал ко мне, прильнул плечом к моей груди и тихо заплакал.

– Ну что ты раскис, как девочка, – строго сказал старший, который, видимо, заменил главу семьи в моё отсутствие.

Весть о моём приезде и внезапной кончине моей матери с быстротою ветра облетела наш небольшой городок. С утра до поздней ночи шли люди, жали мне руку в скорбном молчании, мужчины усаживались рядом, во дворе, женщины входили в дом.

Я был обрадован тем, что народ наш сохранил хорошие традиции помощи в беде.

Нас, самых близких, оградили от всех хлопот. Заботу по организации похорон и соблюдению ритуалов взяли на себя наши родственники, соседи, кунаки, съехавшиеся из ближайших аулов. И, конечно же, среди первых соседей, пришедших в дом, оказался Гамзат.

Где-то на улице, наверное, я бы не узнал его. Несмотря на свободную жизнь, проведённую в эти годы в полном довольствии и достатке, он заметно изменился. За счёт чрезмерной полноты раздался вширь и от этого, казалось, стал ниже ростом. Округлившееся лицо, седые виски, залысины, протянувшиеся ото лба до темени, придавали лицу форму квадрата. Небольшие серые глаза, казалось, воровато прятались за набухшими веками.

Я сидел на скамье, когда он вместе с другим соседом вошёл во двор. Я не поднялся навстречу, не подал руки.

– А, дядя Гамзат, вот папа, приехал, а бабушка не выдержала... – недоговорил мой старший сын, идя навстречу.

Гамзат сказал что-то невнятное в ответ и, побагровев от смущения, стал медленно приближаться ко мне.

Я не поднял головы – боялся, что в моих глазах сверкнёт ненависть, что у меня не хватит сил сдержать себя, если я посмотрю в его бесстыжие очи.

Это секундное молчание для меня и, наверное, для него было пыткой.

Мне нужно было найти в себе силы, чтобы не дать разгореться тлевшему долгие годы в моём сердце очагу, взывавшему к мести, а Гамзату, быть может, подобная встреча не составляла труда, как человеку, лишённому чести и совести.

Видимо, и он опасался первой встречи со мной, о чём можно было судить по его настороженным шагам и движениям. Конечно, оба мы были уверены, что смертью моей матери был

переброшен непрочный мосток через пропасть, проложенную между нами. Я не сомневался в том, что душе он был рад этому настолько, насколько был удручён я.

Отойдя от меня, он подошёл к моему старшему сыну и стал с ним о чём-то говорить. Я, конечно, догадался, что он хочет дать денег на похороны и был рад, что успел вовремя предупредить жену и сына.

По нашим обычаям, родные, близкие и друзья складываются и выделяют какую-то сумму денег, как помощь на похоронные расходы, поминки и т. д.

В категорической форме я запретил жене и сыну принять даже рубля от кого-нибудь:

– Если в доме нет денег, займите у кого-нибудь из посторонних, заложите какую-нибудь ценность, но брать денег не смейте. Я, сын, и вы, внуки, должны похоронить мать-бабушку за собственные средства. Мы же не нищие!

Гамзат был, наверное, не только удивлён, но и огорчён, поскольку я лишил его возможности быть ему обязанным за подачку – подкуп, в силу воздействия которых он верил больше, в чем в какую-нибудь мораль и букву закона. Я помню, как он, ещё в молодости, оценивал человека по принципу «нужный» и «ненужный», «пригодится» или «не пригодится».

Он мог отказаться пойти на свадьбу к бедному товарищу и напроситься на пиршество богача, где на виду у всех швырнуть музыканту или танцующим последнюю пятёрку.

Дома не ждали меня потому, что я не писал им. Мой неожиданный приезд взбудоражил всех. Наш дом в первые дни был полон гостями. Родные и близкие съезжались из города и аулов, чтобы поглядеть на меня.

Мои малолетние дети успели повзрослеть за десять лет, а жена поседела от горя, как и я.

Жажда мести – она продолжала томить меня с прежней силой, как только я оставался один, но почему-то теперь мне не хотелось спешить – видимо потому, что я не наслаждался долгожданной свободой.

В первые же дни своего приезда я спросил у жены о Гамзате:

– Здесь он, работает по-прежнему спокойно, – ответил ничего не знающая жена.

Каково же было моё удивление, когда в тот же день к вечеру, в толпе других мужчин, пришедших поздравить меня с возвращением, увидел Гамзата. На сей раз он не отвернул лица, но глаз опущенных так и не поднял за весь вечер. И никто из присутствующих родных, близких, друзей, соседей не знал, за что и по чьему клеветническому доносу я был осуждён.

И какой силой воли должен был обладать человек, томимый жаждой мести... – думал я о себе, когда со спокойным видом протягивал приветственную руку подлецу.

Гамзат всегда слыл человеком трезвым. А в этот вечер, к великому удивлению кунаков и соседей, он опрокидывал в свою глотку один стакан «чихиря» за другим.

– Гамзат, что с тобой? Или ты радуешься возвращению друга больше чем остальные? – с улыбкой заметил один из гостей.

– Сегодня, как никогда, мне хочется пить, – смущённо ответил Гамзат, опорожняя очередную порцию.

Я хотел сказать, что пьют не только на радостях, но и от горя, или когда хотят заглушить нечистую совесть. Но почему-то я не верил в то, что у Гамзата есть совесть. Тот, кому не дана она от природы, не может её приобрести за деньги. А пьёт он, скорее, от страха. Люди подлые отличаются трусостью – в последнем я был уверен.

Вечером, когда люди разошлись и в доме остались самые близкие родственники и ближайшие соседи, в дом взволнованно вошёл человек, показавшийся мне незнакомым. Он остановился передо мной, потом окинул взглядом с ног до головы и воскликнул:

– Гирей, друг мой, – обнял грубо, по-мужски. – Не узнаёшь, неужели так сильно изменился?

- Андрей, – нерешительно произнёс я.
- Ну конечно, Скворцов.
- Скворец? – с грустной улыбкой сказал я.
- Он самый!

Это был мой друг на факультете, койки наши в общежитии стояли рядом. Хороший он был парень, способный, но с ленцой, как многие интеллектуалы – весельчак, балагур, повеса, а в общем – «рубаха» парень.

Родители его жили в Таганроге, а тётка по матери – в Дагестане, замужем была она была за лезгином. И потому Андрюша иногда каникулы проводил в горах.

Я был очень рад его приходу. Не менее радовался и Андрей – взволнованно, от души выразил он соболезнования, уверял, что переживал очень, когда узнал о постигшей меня беде.

Пытался разыскать место моего нахождения, но безуспешно, и вот сегодня, приехав навестить больную тётушку, узнал о моём возвращении.

В те студенческие годы я познакомил Андрея с Гамзатом. Мы часто проводили вместе каникулярное время, проводили летние вечера у Гамзата.

– О, Гамзат, я, конечно, не сомневался в том, что в такую минуту вы будете рядом с другом, – сказал Андрей, идя навстречу вошедшему в дом Гамзату.

Мой бывший друг как-то кисло улыбнулся и с опущенными глазами пожал руку Андрея.

– Заходите сюда, в комнату ребят, – сказал я, открыв дверь, а дочери велел принести что-нибудь съестное.

Андрей, подняв с пола свой огромный портфель, вошёл первым, за ним Гамзат. Нашу отчуждённость и молчаливость Андрей, наверное, расценил как траурную печаль, и старался быть оживлённым и воспоминаниями рассеять нашу грусть.

– Я знаю, – сказал он, – что горцы Дагестана поминают покойных без хмельного, но в данном случае – ради меня, русского человека – давайте помянем твою матушку вином и заодно отметим твой приезд. Ты не возражаешь? – обратился он ко мне и, нагнувшись, вынул из портфеля бутылки коньяка, водки и вина.

– Ты, когда не брал в рот хмельного, помнишь, мы называли тебя муллой, а как теперь? – обратился Андрей к Гамзату.

– До этого вечера придерживался сухого режима, – ответил Гамзат, не поднимая головы.

– А знаешь, Гамзат, сегодня, увидев тебя после стольких лет разлуки, я почему-то подумал, что ты стал не только чревоугодником, но и преданным поклонником Бахуса, – заметил Андрей.

– Какого Бахуса? – спросил Гамзат.

– Был такой древнегреческий бог вина.

– А-а, – протянул Гамзат, делая вид, что вспомнил.

– Если ты настоящий друг, сегодня должен выпить, – продолжал Андрей, наполнив графинный стакан и ставя его перед Гамзатом.

Гамзат заколебался, потом взял стакан и, сделав несколько больших глотков, опорожнил.

– Я, конечно, не сомневался никогда в нерушимости твоей дружбы с Гиреем, уверен, что ты пойдёшь за ним в огонь и в воду – это хорошо, это настоящая бескорыстная дружба мужская, проверенная годами. Такой дружбе можно позавидовать, – искренне восторгался Андрей, а Гамзат тем временем, сражённый этими словами, схватил бутылку с водкой, наполнил стакан и тоже осушил залпом.

– Здорово! Но если ты никогда не пил, то, может, не следует начинать с таких ударных доз, – заметил Андрей.

Но остановить Гамзата, рука которого потянулась к бутылке с коньяком, не смог.

Гамзат пил, не обращая внимания на нас, его красное мясистое лицо стало багровым, голова наклонялась всё ниже и ниже. Наконец, она свалилась на стол, как тыква, которую не удержал стебель.

– Что с ним? – кивнув головой, спросил Андрей.

Я молча махнул рукой. Мы посидели ещё немного, поговорили, потом Андрей поднялся, распрощался.

Гамзата привести в чувство не удалось. Когда его ставили на ноги, он валился, словно огромный переполненный бурдюк. С трудом выволокли его ребята из комнаты и потащили к роскошному особняку.

На другой день он пожаловался на сильную головную боль и не пошёл на работу. Андрей, прибежавший с утра ко мне, пошёл проведать Гамзата и порекомендовал ему для облегчения состояния похмелиться. Потом, когда возвратился и сел рядом со мной во дворе, долго молчал.

– Ну, как он? – спросил я, указав взглядом в сторону его особняка.

– Да он-то ничего, отойдёт.

– А что чего? – задал я снова вопрос.

– Ты знаешь, Гирей, я обалдел...

– От похмелья, что ли?

– Да нет, от богатства, которое увидел.

– Люди от природы завистливы и злы – писал итальянский мыслитель Макиавелли, ещё в XV веке.

– Кто-кто, но ты, Гирей, знаешь, что я не завистлив и не зол.

– Да, конечно, это я пошутил, извини; а что касается богатства моего соседа – не удивляйся.

– Да как же «не удивляться», если нужно даже возмущаться!

– Кому это нужно?

– Тебе, мне, нам – хозяевам страны. Надо же, – возмущался Андрей, – человек без всякого образования, выходец из бедной семьи, простой работник – и вдруг за какие-нибудь 10–15 лет приобретает такое состояние, какое, пожалуй, не имел ваш бывший князь Тарковский. И никто не интересуется, откуда всё это. Ведь и дураку ясно, что не трудовое. Вот мы с тобой и другие, такие как мы, можем приобрести такое?

– Что же особенного увидел ты в его доме – ковры, мебель? – спросил я.

– Как – что особенного? Не только ковры и мебель, разве ты не обратил внимания – у него не дом, а магазин антикварный! В его сервантах, на дорогой мебели рядом с сервизами «Мадонна» – старинные уникальные статуэтки, цветной хрусталь, фарфоровые вазы, серебро, бронза. А зал – не меньше сорока квадратных метров, с огромной хрустальной люстрой. Да у него в прихожей лежит ковёр получше чем твой в гостевой, разве ты не видел?

– Нет, я не заходил к нему.

– Не успел – так пойди, полюбуйся, поучись у друга и земляка, как надо жить.

– А ты поучился? – спросил я Андрея.

– Не гожусь я в ученики к Гамзату, – ответил он.

– А почему ты считаешь, что я гожусь?

– Не считаю, а так, к слову пришлось – обидно за себя и за тебя.

– На кого обида?

– На судьбу.

– Не ропщи, – казал я, – меня судьба научила довольствоваться самым малым. Всё это ерунда. Не это главное в жизни, а совесть.

– Я согласен, но кому нужна твоя совесть? – махнув рукой, сказал Андрей.

– Ну, прежде всего мне, моим близким, настоящим друзьям, таким, как ты, а богатство и роскошь, коли их придумали люди, должны же кому-то принадлежать...

– Должны, конечно, но почему именно жуликам, дельцам, а не честным труженикам? – возразил Андрей.

– Честным труженикам не на что и некогда заниматься сбором показных безделушек – мне, например, всё равно, кому они принадлежат.

– Нет, мне всё это не нужно, а коли эти произведения искусства имеются и создаются, пусть они принадлежат обществу, людям, например, живущим в домах престарелых, инвалидов, детским учреждениям, а не хапугам.

– А разве в России таких, как Гамзат, нет – или это свойственно кавказцам?

– Есть, наверное, только я не видел, – снизив тон, ответил Андрей и задумался.

– Друг мой, я понимаю тебя, не обижайся, если скажу – голодный завидует сытому, бедный – богатому, больной – здоровому; так было, есть и будет, – сказал я, положив руку на плечо Андрея.

– Да пойми ты, не завидую Гамзату, а возмущаюсь, обидно как-то за всех, таких как мы, обидно. Вот ведь настоящий ворюга, только не пойманный – не обижайся, что я так говорю о твоём близком друге, ты же ведь тоже согласен, правду говорю.

– Оставим, Андрей, это разговор.

– Хорошо, Гирей, оставим. Ты как настоящий кавказский мужчина ставишь себя выше «мелочей» и, конечно, простишь меня, русского «мужика», безобидного болтуна. Я понимаю, Гамзат для тебя ближайший друг. И я, конечно, понимаю, что не во всех случаях справедлива поговорка, гласящая – «покажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты».

Через несколько дней Андрей уехал.

Гамзат – завбазой, вор и мошенник, а потому человек состоятельный и, конечно, уважаемый такими, как сам. У него роскошная усадьба, дом – полная чаша, двор-сад, который не уступит зелёным тенистым убежищам бахчисарайского дворца и автомобиль «Победа» в личном гараже. Сам Гамзат не умеет водить машину – ждёт, пока подрастёт сын.

Этот мошенник, которому без суда и следствия можно пришить экономическую диверсию, считается в городе человеком уважаемым. Даже городское начальство почтительно раскланивается с ним, памятуя изречение безвестного «мудреца» – «не пойман – не вор».

Нет, не позавидовал я сытой, богатой жизни Гамзата. Всё равно все знают, что живёт он не на трудовые деньги, живёт на свободе, потому что делится с другими, а грабит он не отдельных лиц, а государство, и ведь не всякий поймёт, что грабит народ.

Надо убить Гамзата – убить за себя, за десять лет тюрьмы и за народ.

Но каким образом? Ринуться в бой с обнажённым оружием, открыть забрало по-рыцарски?

Нет, так нельзя, начнётся кровная вражда. Я вспомнил слова мудреца, имя которого запомнил. Так вот, это мудрец сказал: «бей врага его же оружием». Оружие Гамзата – ложь, клевета, коварство, умение душить чужими руками. Но на это тоже нужно быть способным.

Я начал обдумывать методы и строить планы уничтожения Гамзата. Моя старшая дочь работала медицинской сестрой в инфекционном отделении больницы. Я стал частенько захаживать к ней во время её ночных дежурств. При каждом своём визите я поглядывал на ёмкости в шкафу над умывальником, на которых были написаны названия растворов (разумеется, ядовитых).

Я решил отравить Гамзата, прибавив ядовитый раствор к спиртным напиткам, которыми решил угостить коварного соседа.

Мои дети, чья жизнь протекла без баловства, излишеств, окруженные заботами бабушки и матери, учились хорошо и во всём помогали старшим, которые вели домашнее хозяйство. Сыновья, окончив школу, стали работать на заводе. А дочь, по рассказу жены, мечтала стать

врачом. В процессе учёбы она особое внимание обращала на предметы, предусмотренные для вступительных экзаменов, и по этим дисциплинам имела твёрдые пятёрки.

Дочь Гамзата, была посредственной ученицей и вовсе не собиралась посвятить свою жизнь медицине. Сделать её доктором захотели её родители.

Заявление в мединститут они подали в один год. Моя дочь сидела с дочкой Гамзата рядом, когда они писали сочинение и позволила ей «сдуть», а договорились они писать сочинение на одну и ту же тему. Также она слушала, как дочь Гамзата неуверенно, путая даты и события, отвечала по истории. Дочь моя была удивлена и возмущена, когда в списках прошедших по конкурсу не увидела своей фамилии – зато прошла дочь Гамзата.

Девочка вернулась домой в слезах, несколько дней плакала, не выходя из дома, в особенности, когда узнала от матери о том, что жена Гамзата отвезла жене директора мединститута драгоценное кольцо с большим бриллиантом. В истерике девочка кричала, что выведет их на чистую воду, что теперь она поступит только в юридический институт, после окончания которого станет прокурором и пересажает всех взяточников и мошенников.

Но пыл возмущения прошёл. Она устроилась на работу санитаркой в больницу и поступила на вечернее отделение медицинского техникума.

Я не избегал встречи и общения с Гамзатом. Напротив, искал их. Мне доставляла удовольствие моральная пытка, которую, как мне казалось, испытывал Гамзат в моём присутствии.

Ни в первый, ни в последующие дни никаких вопросов, объяснений между нами не произошло, т. е. ни слова о прошлом.

Казалось, оба мы боимся коснуться его роли доносчика, «сексота» и тайны, которую хранили в глубинах памяти.

Но в наших молчаливых взаимоотношениях существовали две особенности. Проницательная пытливость моего взгляда, как будто всегда спрашивающего «Ну что, негодяй, каково теперь тебе?» и страх его, избличённого – как будто застигнутого врасплох при совершении нечистого деяния...

Скажу откровенно, что жажда мести ни на минуту не покидала меня. И что только я не придумывал, какие только планы уничтожения не строил!

Но чтобы быть до конца правдивым, должен признаться – убрать его открыто, по-рыцарски, я теперь не хотел. И чем дольше наслаждался радостью свободы, тем больше пугался неволи; значит, нужно было придумать метод постепенного, незаметного уничтожения этого ничтожества.

Убивать постепенно... Способ должен быть верный. Надо найти какое-то ядовитое вещество, которое можно насыпать в пищу или питьё. Но каким образом? Как это практически осуществить?

Наиболее удобный и надёжный способ – отравлять, прибавляя к спиртным напиткам. Мне невольно вспоминался тот вечер, когда Гамзат с каким-то отчаянием, впервые в жизни, если можно поверить его словам, осушал один стакан за другим вина, водки и коньяка, и как он в состоянии тяжёлого опьянения без чувств был вынесен из комнаты.

С этого и начну, решил я.

Я не стал устраиваться на работу, соблюдал траур, как положено по обычаю в течение сорока дней. Однако, несмотря на запрет употребления спиртного в такие дни, я каждый вечер покупал бутылку водки, приглашал в отдельную комнату Гамзата и там распивал с ним – стараясь как можно меньше выпить самому и как можно больше подлить «другу».

Гамзат пил, пил по-прежнему молча, не глядя мне в глаза, не отказываясь ни от одного стакана. Пил не только за мой счёт, а со временем сам стал приносить дорогие коньяки и угощать меня. И каждый раз мне удавалось как-то изловчиться, отвлечь его, чтобы выплеснуть

напиток из своего стакана. Затем я решил вместо посуды из прозрачного стекла пользоваться в таких случаях фарфоровыми чашечками, чтобы не было видно количество содержимого.

Гамзат, конечно, не сомневался в том, что каждодневным употреблением спиртного я «заливаю» горе утраты, а прошлое предано забвению.

По истечению сорока дней я поступил на работу. Наши «жертвоприношения Бахусу» и по истечению траурных дней продолжались регулярно, а по выходным дням – с утра до вечера. Поскольку мы никуда из дома не отлучались, после изрядного употребления хмельного заваливались спать.

Жёны наши не обращали на это никакого внимания и даже, кажется, были рады этому.

Чтобы не хмелеть и ограничить воздействие спиртного, перед тем как «раздавить» чекушки я проглатывал сливочное масло и вообще плотно наедался. Гамзата же с коварством, присущим истинному врагу, старался напоить натошак, ставя на закуску зелень или фрукты.

В одно из воскресений я напоил его так, что он лишь с помощью моих сыновей дополз до своей роскошной виллы, а утром не пошёл на работу.

В тот понедельник его помощник по базе неудачно провернул какую-то мошенническую сделку и они, как говорится, «погорели». Внезапно нагрянувшая ревизия обнаружила крупную недостачу. Чтобы не довести дело до следствия, Гамзату пришлось выбросить крупную сумму на подкупы, а задолженность погасить, продав «Победу».

И в те дни, когда Гамзат ловчил, стараясь замести следы своего преступления и удержаться на доходном месте, я подстерегал его, как хищник – жертву, и заставлял пить.

Затем наступило такое время, когда не пить Гамзат не мог. Он стал пить водку, где представлялась возможность, пропивал своё. Вокруг него стали роиться опустившиеся, допившиеся, как говорится, «до ручки» алкоголики. Теперь пить заставлял не я его, а он меня. Я же всячески старался избегать его.

Теперь его розовое лоснящееся лицо приобрело багрово-синюю окраску, а отёчные веки позволяли глазам глядеть на мир через узкие щели.

В роскошном особняке его воцарились удручающая тревога и гнёт забулдыги.

Я не торжествовал. Мне было жаль его жену, мать и ни в чём не повинных детей, которые страдали. Мне казалось, что избавление от пьяницы, превратившегося в деспота, принесёт облегчение им – в особенности когда его, наконец, сняли с работы, и он стал таскать из дома вещи, продавать за бесценок и пропивать.

Жажда мести не утолялась во мне даже теперь, когда я смотрел на него и понимал, что он – живой труп. Мне казалось, что настало время нанесения последнего удара.

Я хотел отравить его.

Мне нужен был яд, а где его взять?

Дочь моя работала медсестрой при инфекционной больнице. Я зачастил к ней по вечерам в дни её дежурств, находя всякие предлоги.

Когда она отлучалась из сестринской, я подходил к шкафу, раковине, где стояли ёмкости с дезинфицирующими ядовитыми растворами.

Решил остановиться на бутылке с этикеткой с изображением белых костей крест-накрест на чёрном фоне, с надписью «сулема». Мне удалось отлить яда в пузырёк. Я принёс его домой и спрятал под балкой в погребе.

Через несколько дней я вновь пошёл к дочери в больницу, понес свежеспечённые пирожки с плавленым сыром, которые любила дочь.

– Скажи, – обратился я к ней, – эти дезрастворы, которыми вы моете руки, не представляют опасности при наружном применении? – спросил я.

– Ну, конечно, нет – мы ведь после обеззараживания споласкиваем руки водой.

– А что ядовитее, раствор карболовой кислоты или сулемы?

– И то и другое, в зависимости от концентрации, но сулема, пожалуй, ядовитее, быстро поражает почки... А почему ты этим интересуешься, папа?

– Да так просто, любопытства ради, – ответил я.

И вот в один из дней я купил пол-литра водки, отлил немного, долил до горлышка раствором сулемы и закрыл бутылку.

Дело было в субботний вечер.

После добавления яда в водку меня сразу охватило страшное волнение. Мои руки и ноги стали дрожать, словно в лихорадке. Я не находил себе места в ожидании прихода Гамзата, за которым послал сына.

Когда он появился во дворе, моё волнение ещё больше усилилось.

Какой-то голос, потрясая мою грудь сильными ударами сердца, требовал: «преступник», «убийца», «негодяй», «не смей это делать».

Другой голос подстёгивал: «не бойся, сделай то, что задумал, никто не узнает и подлец будет отмщён».

Гамзат, успевший за день «нализаться», сидел на скамье под навесом, за маленьким столиком, бормоча слова русских песен, которые хоть не конца, но сумел заучить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.